

НАВЕДЕНИЕ НА ЦЕЛЬ

1

Тупорылый, кургузенький истребитель И-16, прозванный по созвучию «ишачком», шел бреющим — в двух метрах над степью. Леонид Бахтин любил эти короткие — между взлетом и выходом к объектам фотографирования — чисто летные минуты. Война куда-то ненадолго отодвигалась, и лейтенант наслаждался скоростью, ощутимой так остро лишь у самой земли. Он жадно вбирал запахи чабреца, мяты, сухой перестоявшейся травы. А вместе с тем настороженно ловил взглядом всякую неровность почвы, каждый выступающий над макушками растений и стремительно мчащийся навстречу столб или камень. Ведь над ними надо вовремя взмыть!

Вот под носом машины взметнулись серебристые стебли татарника, будто просемафорили пунцовыми шапками. Хотели предупредить об опасности, подстерегающей ишачка? А пучки сизой полыни испуганно пригнулись и сразу спрятались. Наверно, предпочли не вмешиваться в людские дела. Леонид усмехнулся. Но тут же из-под крыла ишачка вылетело и колесом, соскочившим с оси, понеслось вдаль похожее на большого ежа перекати-поле. Лейтенант, конечно, знал: отводить взгляд от земли рискованно. А все-таки стрельнул глазами.

Да, на бреющем не соскучишься — все степные секреты видны. И пусть они едва успевают мелькнуть — проносятся мгновенно, — зато как внятно ощущаешь милый сердцу азарт быстроты, как счастливо веришь в надежный автоматизм своих движений!

Леониду Бахтину казалось: сейчас одному ему свойственно, только ему понятно неуловимое шестое чувство летящего времени. Ведь другие летчики полка не ходят в разведку, прикрывают войска со средних высот — с двух-трех километров. А там скорость так вплотную не ощутить...

Однако не радостная горячность бреющего заставляла лейтенанта вести ишачка у самого дна воздушного океана. Бахтин давно убедился: немецким истребителям трудно сверху разглядеть его на фоне травяного покрова. И снизу для зенитчиков ишачок неуязвим. Земля поглощает яростный шум мотора — разведчик неслышно подкрадывается к вражеским батареям и с внезапным, сразу же обрывающимся ревом проносится над ними. Не то что выстрелить — навести не успевают. «Вот и мне, словно пехотинцу, хочется к землице поближе. Только зарываться в нее, пожалуй, не стоит», — посмеивается Бахтин.

Неожиданно его ишачок как бы затормозил — завис! Степь вдруг провалилась куда-то глубоко, скорость как бы замедлилась — впереди открылось устье балки. И, нырнув в нее, притиснув машину к выбеленному солнцем каменистому дну, лейтенант отметил: «Скоро выскакивать на цель». Правда, что-то вроде сожаления все-таки кольнуло — ведь приходилось расставаться с бреющим! Но вырос заранее намеченный по карте ориентир — крупный валун, и в голове автоматически мелькнуло: «Здесь!» Почти одновременно покорный самолет плавным прыжком, словно болотный лунь на копну, взмыл вверх. «Последний мой заход сегодня», — подумал Бахтин. Представил себе: сейчас на него с земли направляют зенитки, пулеметы... Звучат на чужом языке торопливые команды... «А я как в дурном сне: и спрятаться некуда, и закрыться нечем, и проснуться нельзя», — подтрунил он над собой.

Действительно, самолет не набрал еще и пятисот метров, а уж рядом с двух сторон распустились махровые астры разрывов. «Ловко вилку берут!» — невольно восхитился Леонид. Однако вполне трезво принялся сбивать немцам прицел. Резко прекратил набор высоты — сделал площадку. И, все увеличивая скорость, летя, в общем, прямо, рыскал то вправо, то влево, нырял короткими клевками, тут же, правда, выныривая. Казалось: машина из любопытства заглядывает во все воздушные улицы и переулки, пересекающие главный проспект ее полета. Наконец, круто накренив, Бахтин положил самолет в боевой разворот. Выйдя таким способом точно на противоположный курс, он вместе с тем набрал еще с полкилометра высоты. И удовлетворенно оценил результаты своего маневра: под носом его истребителя так и не вырос барьер зенитного за-

градительного огня. Надо было вступать на «прямую фотографирования». Он привычно зацепился глазом за ориентир — выбрал уныло-бездымную фабричную трубу, торчащую у края горизонта на одной линии с целью. И полетел прямо к ней — уже безо всяких кренов и рысканья, словно на параде, деревянно пошел — «руки по швам» — во время фотосъемки должен был целую минуту сохранять постоянными скорость, высоту и направление полета.

Теперь молчание немецких зенитчиков стало настораживать. Давно пора им опомниться, дать пристрелку. Однако немцы не спешили — может быть, готовили сюрприз? Не выпуская из виду фабричную трубу, Бахтин успевал скользнуть взглядом по приборам, все чаще поглядывая на часы. Но посмотреть вниз, оглянуться не мог — строго выдерживал прямую. Как долго тянулась на этот раз минута! И какого черта молчат зенитки?

Бахтин перебирал причины. Стрелка еле ползла, и немцы по-прежнему не открывали огня. Все-таки он чувствовал: самая длинная минута его жизни подходит к концу. Впрочем, сколько их уже было — этих минут? Ежедневно три вылета на разведку. А в каждом по шесть заходов на фотографирование. Значит, и сегодня почти двадцать минут — больше ста километров — он шел руки по швам, среди разрывов. Часто его технарю приходится латать пробоины, рваные дыры от осколков в крыльях, фюзеляже, в хвостовом оперении. Только везет лейтенанту Бахтину, он — счастливый!

Вот и сейчас — стрелка все же пересекла контрольную черту, заснялась кассета, завершившая серию, прошла последняя секунда этой, казалось, вечной минуты. Наконец-то он мог оторвать взгляд от фабрич-

ной трубы, от приборов — стал осматриваться: влево, вниз, назад, вверх...

Две тени метнулись! Со стороны солнца на него пикировали немецкие истребители — мессеры. Потому и зенитчики не стреляли — боялись попасть по своим. «Развернуться, принять атаку в лоб?.. Но дальше что? Если не собью ведущего первой очередью? Драться на самой выгодной для них высоте...» Пока эти мысли проносились в голове, самолет уже лег на левое крыло и, словно лист, вставший ребром, разом провалился — скользнул вниз. Так лейтенант Бахтин уклонился от боя — ушел в глубокое скольжение. И тут же заметил справа от себя красную цепочку трассирующих снарядов. Ведущий мессер выпустил очередь сгоряча, не оценил маневр Леонида. Но промахнувшись, как видно, озлился: продолжал круто пикировать, лишь немного довернул в сторону ишачка. Бахтин снова энергично переложил рули — скользнул уже вправо. И опять немец опоздал — вторая его трассирующая стрела проскочила мимо, теперь слева. Вражеский пилот атаковал чересчур самоуверенно, работал грубо. Бахтин пожалел, что не принял боя. Подумал: «Эх, дать бы ему по мотору! Выпустить водичку, поостудить пыл...» И только тогда спохватился: «А земля, земля!» Вдруг вообразил, как от удара сплющивается в гармошку крыло скользящего вниз ишачка.

Мгновенно и, казалось, плавно лейтенант вывел машину из скольжения, перевел ее в горизонтальный полет... Все же невидимый слон инерции навалился на плечи, прижал к сиденью. Неподъемной тяжестью налились руки, ноги... Не выдержав перегрузки, сами собой опустились веки — у Бахтина потемнело в глазах. С усилием разомкнув их, он увидел вдруг выдвинувшиеся с обеих сторон «берега́» — ишачок уже нес-

ся вдоль неширокой ложбины, в каких-нибудь десяти метрах над ее травянистым дном. Мелькнуло радостно: «Опять повезло! Вырвался и немца обманул!» Хотя обернуться, чтобы определить, куда тот делся, Бахтин не мог. Его собственная машина мчалась извилистой балкой, ежесекундно рискуя задеть крылом выступ склона, зацепить лопастью винта крупный валун. Надо было смотреть в оба!

И Бахтин оглянулся лишь, когда выскочил из оврага — пошел по-прежнему низко, зато над ровной степью. Но мессеры исчезли. Вовремя прекратили атаку, полезли вверх? Или, наоборот, опоздали?.. Вполне возможно, что, уже задрав нос при выводе из пике, уже переломившись, однако еще неизбежно продолжая просаживаться вниз всем корпусом, они только чиркнули хвостами по дну... И этого было бы достаточно. Впрочем, он же ничего не видел.

Как всегда, лейтенант Бахтин приземлил свой самолет на три точки у посадочного знака «Т». Давно обучился рассчитывать заход с бреющего. Вот ишачок побежал, покатился вдоль посадочной полосы. Словно на галечном пляже, зашуршали покрышки по высохшему до каменной твердости, растрескавшемуся от жары на мелкие кубики чернозему. И сразу отступили привычные заботы, владеющие летчиком во время посадки. Развернувшись и подняв при этом черную тучу пыли, Бахтин порулил к самолетным стоянкам.

Разве по своей воле приходится ему в воздухе петлять будто зайцу на снегу, вечно уклоняться от воздушного боя? Нет, он только выполняет приказ: избегать встреч с истребителями врага. Другой на его месте поискал бы догорающий в балке мессер — сделал бы разворот с набором высоты, хоть на минутку, да задержался бы. А лейтенанту Бахтину нельзя — кас-

сеты, кассеты! Если б не одному летать в разведку... Напарник все время следил бы за мессерами, предупреждал бы о них по радио. Особенно, когда Бахтин выскакивает на цель и потом идет руки по швам вдоль прямой фотографирования. Или помогал бы внезапной атакой, отвлекая немцев. И в бою они бы друг друга наводили на вражеские самолеты... Стоп! Разведчикам ввязываться в драку? Нет, и не мечтай. Вообще, какие тут на напарника надежды — истребителей даже для прикрытия войск пока не хватает... Может быть, с земли организовать наведение? Поставить полковую радиостанцию у самого переднего края. Летчикам на ней дежурить. Снизу куда легче наблюдать за воздухом. Такая «рация наведения» не одному разведчику — всему полку помогла бы. Пожалуй, идея?!

Машинально Бахтин продолжал рулить. Самолет, слегка подпрыгивая на неровностях бывшей пашни, оставлял за собой клубящуюся, медленно оседающую пылевую завесу. Попутный ветер забивал в кабину черноземную крошку. Она щекотала ноздри, хрустела на зубах... Но Бахтин спешил, не сбавлял оборотов. На КП, наверно, уже дожидается кто-нибудь. Нужно сдать кассеты, рапортичку о высоте и скорости полета в момент фотографирования. Приказ есть приказ. Только почему все Бахтин да Бахтин? Он даже комиссара об этом спрашивал.

— Ты в академии учился, пограмотнее прочих, — весело отвечал Прокопыч. — И противозенитный маневр на все пять знаешь, и от мессеров всегда сумеешь в балочку сховаться — тебя учить не надо...

Комиссар говорил назидательно-ласково, будто с ребенком. А Леонид невежливо буркнул:

— В академии не этому учат.

— Ну, а главное: ты не мальчишка, — стараясь не замечать тона, по-прежнему примирительно продолжал Прокопыч. — Тебе небось скоро тридцать стукнет? У тебя жена, дети малые... поосторожнее других летаешь...

В голове мелькало: «Детей моих считаете? А я себе на возраст скидок не требую!.. Только и прошу, чтобы драться по-настоящему...» Однако Бахтин удержался — не вспылил. Сказал нарочито равнодушно:

— Разрешите идти?

Так лейтенант ничего и не добился. На другой день уже командир полка перед вылетом нотацию прочитал:

— Помни, главную задачу выполняешь. Даром, что ли, лучшую машину дали? Рисковать и не помышляй! Кулаками-то все умеют махать. А кассеты твои — любого немецкого аса дороже. Сам знаешь, у пешек не получается на ближнюю разведку летать — мессера сбивают, да и зенитки... На тебя не я один надеюсь, смотри, чтоб без глупостей!

Было понятно: Старик пользуется испытанным приемом — знает, чем лейтенанта Бахтина можно взять. Но, конечно, Леонид прощал майору наивную хитрость — как все в полку, любил командира. К тому же и на разведку летал не без интереса. Заранее рассчитывал, в какой точке маршрута выгоднее взмыть — осмотреть местность, оценить изменения в расположении врага. Прикидывал, куда могут передвинуться немецкие танки, в какой район вероятнее всего сместятся позиции артиллерии. Радовался, когда его предположения подтверждались. Около каждой цели примечал балочку, в которую удобно нырнуть после фотографирования, — готовил себе пути отступления. А главное — следовал этим наметкам! Видно, уже сми-

рился с новой профессией — из истребителя окончательно превратился в разведчика...

Бахтин резко сунул вперед сектор газа. Мотор взревел, самолет рванулся и, подняв хвост, побежал к стоянкам. Но лейтенант сразу спохватился, убавил обороты. И вскоре благополучно дорулил до капонира — к обваловке, защищающей машину на стоянке от взрывной волны и осколков бомб.

Оставив истребитель на попечение техника, Бахтин бегом бросился в штабную землянку. Однако у входа в нее почему-то оглянулся. Отметил: дежурное звено садится в полном составе — вернулись без потерь! И тотчас с облегчением узнал семерку лейтенанта Захара Рулева.

Захара он здесь встретил неожиданно. Они еще в летной школе дружили, но по окончании попали в разные части. А беспрестанные перебазирования с аэродрома на аэродром с одновременной сменой номеров-названий полков прервали переписку друзей. Потом учеба в академии и война, казалось, совсем их разлучили. Но вот после зимних боев под Ростовом к майору Чихачеву влили остатки отдельных эскадрилий. Надо же было в одной из них оказаться Захару! А вслед за ним и Леонид получил сюда назначение.

Невольно Бахтин подумал, что другу не скажешь о своих сомнениях. Захар привычно небрежным жестом взлохматит торчащие из-под шлема иссиня-черные вихры (за которые Рулева в полку величают Блондином — Захар носит эту кличку в воздухе вместо позывного) и, посмеиваясь одними глазами, завернет примерно такую речугу: «Э, да вы, сэр, оказывается, кровожадны! Мои лапотники покоя не дают? Честолюбие томит? Не волнуйтесь — еще успеете, насбиваете. Война — дело долгое, даже надоесть может...»

Сильно дернув дверь, Бахтин вошел в землянку. Лампа-молния, как всегда, возвышалась на середине стола. За ним сидели командир и комиссар полка. Косые, переломанные пополам тени шевелились в углу. Только на маленьком самодельном столике для полевых телефонов появилась еще и коптилка из сплющенной в горловине медной гильзы зенитного снаряда. Должно быть, телефонисты себе смастерили.

Докладывая майору Чихачеву о выполнении задания, Бахтин заметил: у столика с коптилкой сгорбился высокий худой капитан в коричневом кожаном пальто — летном реглане. И мысленно чертыхнулся: «Ишь, счетоводы, под нас маскируются!» — угадал в капитане штабника. Хотя сразу же подумал, что тот мог быть и настоящим летчиком, списанным после аварии или ранения... Однако, несмотря на темноту, разглядел: петлицы у капитана пехотные! В присутствии чужого не захотелось рассказывать командиру полка о столкновении с мессерами. Леонид загадал: «Ну, разве уж, если сам спросит...» Майор не спросил, сказал:

— Хорошо, теперь займись с представителем штаба фронта, капитаном Воротовым.

И Леонид сел рядом с капитаном у коптилки. Мелькнуло: «Вот бы с кем о наведении поговорить! Их это, штабное дело — выделять наземные средства обеспечения полетов». Но что-то мешало обратиться к Воротову.

Проставляя на карте время, скорость и высоту съемки, подготавливая рапортичку, Бахтин не обратил внимания на летчиков дежурного звена, с шумом ввалившихся в землянку. И насторожился лишь, когда услышал свое имя, голос Захара...

— Леонид-то наш вроде Сусанина! Завел мессеров

в балку, да там и оставил. Они, понятно, дороги назад не знают — выйти не могут... Кроме шуток, товарищ майор, кострами горят. Официально подтверждаем, все трое видели, только помочь опоздали.

Тут уж Бахтин не выдержал, вскочил. Рулев уловил движение в полутемном углу, метнулся к телефонному столику, обхватил друга за плечи. Скрывая растроганность, а вместе с тем уклоняясь от мелодрамы с объятиями, Леонид сделал вид, будто борется с Захаром. И тот понял — включился в игру. Оба на редкость плотные, лейтенанты все же силой не хвастали. Лишь некстати подвернувшиеся табуретки отлетали в стороны. Подзадоривая, поддразнивая боровшихся, приседал, ухал и крякал майор Чихачев. Вовсю потешались, хохотали летчики. И комиссар добродушно усмехался. Один капитан Воротов остался сидеть у коптилки с непроницаемо-бесстрастным видом.

Когда друзья наконец расцепились, лицо командира полка приняло знакомое всем официальное выражение. Подчеркнуто строевым жестом майор вытянул руки по швам. Тотчас в землянке стихло. И даже Воротов поднялся, встал по стойке «смирно».

— За мужество в борьбе с фашистскими захватчиками и проявленную при этом скромность представляю лейтенанта Бахтина к правительственной награде!

Эту явно не приспособленную для частого употребления фразу майор Чихачев произнес несколько выспренним тоном. Бахтин едва удержался от нелепого мальчишеского смешка. Подумал: «Чудит Старик! Какая там скромность, просто неуверенность...» А вслух ответил как положено:

— Служу Советскому Союзу!

Однако опять мелькнула лукавая мыслишка: «Вот

теперь бы поскромничать. Я, мол, не дрался, не сбил никого. Кассеты да ишака спасал — выполнял приказ, не больше...»

Но рядом стоял капитан Воротов. Он мог неправильно понять, превратно истолковать, с пристрастием доложить по начальству... Тогда Старика и Прокопыча наверно ожидала бы неприятность. «А наградной лист все равно не утвердят», — решил про себя Бахтин.

2

Захар долго уговаривал — еле упросил Леонида. И вот они уже быстро шли к «пятачку» по притихшим улицам станицы. Там вечерами собирались девчата. Под пыльными акациями, на утрамбованной сотнями ног площадке они танцевали в темноте, как бы утверждая, вопреки войне, какое-то свое право. То грустно-напевно, то отчаянно-бурно, с вызовом играла одна из них на баяне. И надрывные переходы простых мелодий от тоски к веселью до поздней ночи не давали танцующим разойтись по хатам. Пятачок заметно оживал, когда в парке появлялись летчики. Их отпускали редко, обычно под командой кого-нибудь из старших. И торопливость придавала встречам оттенок ненадежности. А все-таки...

«Неужели комиссар одного Захара не пустил бы?» — спрашивал себя Леонид. И слегка досадовал на Блондина. Но вот они вступили под густые кроны акаций. Стало совсем темно. Друзья натыкались на кусты, низкорослые черешни задевали их ветвями по лицу. И все ощутимей делалась близость пятачка. Леонид испытывал тревожащую неловкость от бешеных

воплей баяна, громкого топота ног. А Захара они только подхлестывали — он ускорял шаг. Молча лейтенанты добрались до площадки.

— Ну, я пошел! — Блондин ринулся в толпу, словно с вышки прыгнул.

Среди танцующих возник и тут же расплылся небольшой водоворот. Леонид подивился самому себе: он следил за товарищем чуть ли не с завистью. И тотчас отвернулся, пошел разыскивать маленькую лавочку под жасминовым кустом, где они с Захаром уговорились встретиться перед возвращением на аэродром. А только уселся — одна из танцорок плюхнулась рядом. Смаху толкнула упругим плечом, обдала крепким запахом разгоряченного тела. И, отодвигаясь, воскликнула, слегка жеманничая:

— Ох, заплясалась!

Что-то мгновенно сковало Леонида, он не откликнулся. Но она продлила игру, спросила:

— Чего же один, не на танцах?

Он опять не ответил. Соседка вскочила. Уже отходя, кинула:

— Ну сиди, кисни...

Нет, Леонид не бросился вслед. А когда Захар вдруг подошел и опустился на скамейку — даже обрадовался. Улыбаясь, спросил:

— Что так скоро?

— Хватит, — мрачно буркнул Блондин.

Леонид не спешил с расспросами. И, помедлив немного, Захар сказал:

— Ведь до какой наглости дойти! Я ей о южных звездах, о наших молодых годах, на войне пропадающих... А она левой рукой по петлицам шарит — кубики подсчитывает! Ну, какова?

— А что же ты ей?

— Да что скажешь? Вообще, это вы, сэр, можете всю жизнь в облаках парить... Но у меня не получится — притворство женское сразу вижу.

— Нет, ты просто не хочешь понять, что для этих девчат главное: дом, дети, семья... Одним словом — гнездо. Вот и стараются, ищут свою пару — с кем бы его свить.

— Мы не птицы!

— И они — тоже. А шарят по петлицам, в темноте звание определяют, чтобы опору понадежнее найти...

Леонид не договорил. Неожиданно вспомнилось: он идет с Лидой берегом Клязьмы... Впервые обнял Лиду за плечи, и она не отстранилась, только притихла. И плывет перед ними вечно ускользающая, далекая граница земли и неба. Как в полете, когда добиваясь постоянной скорости, удерживаешь строго по черте горизонта метку на капоте мотора... Леонид шел с Лидой все дальше, дальше... И эта линия, разделявшая небо и землю, отступала, отодвигалась куда-то вглубь — всегда летчики лишь гонятся за нею, никогда не могут настичь... А в лугах вечерело. На том берегу один за другим зажигались огни. Но тем быстрее сгущалась тьма вокруг. Леонид шел, обнимая Лиду все крепче, и небо, затянутое облаками, все теснее сходилось с землей. И вдруг слилось, граница стерлась — наконец он догнал ее...

С трудом лейтенант Бахтин оторвался от воспоминаний. Из темноты выступили и остановились перед скамейкой летчик и две девушки. Убедившись, что место занято, летчик отошел. И девчата потянулись было

за ним. Однако он обернулся, величественным жестом ткнул в одну пальцем, голосом Кольки Хвостова произнес важно:

— Ты — пойдем!

И, небрежно отстранив другую, добавил:

— А ты — не надо.

Пара под ручку тронулась в глубь парка. Отвергнутая одиночка побрела к пятачку. Захар не удержался — грохотнул:

— Видали, сэр? А вы теории разводите... Любовь, гнездо! Ну, я пошел, не то танцы кончатся.

Захар скрылся в толпе.

«Да, любовь, дети, гнездо... — размышлял Бахтин. — Лида пишет: весь мой денежный аттестат — на рынке пуд муки. Ребятишки не видят ни масла, ни сахара. Изредка конфеты — в замену. А вообще-то по иждивенческим карточкам: хлеб, перловка... Конечно, Лида могла бы работать, военкомат устроил бы, есть такой закон. Но с кем малышей оставить? Витьке — старшему! — два года, Валюша недавно ходить научилась, за ней только смотри да смотри. А Лида спрашивает: не продать ли зимнее, не кончится ли война к осени? Сама еще ребенок...»

Крики, шум, какая-то возня на пятачке отвлекли его, заставили насторожиться. Баян внезапно смолк, и Леонид услышал возмущенный возглас друга:

— На, гад, получи!

И — глухое падение, удар чего-то мягкого. А затем сразу — словно мотор кукурузника затарахтел — взорвалась шальная смесь визга, криков, невнятицы...

Леонид вскочил, в несколько прыжков очутился на пятачке. И вовремя. Хвостов поднимался с земли. Захара не пускали девчата, висли на нем... Бахтин вло-

мился в толпу, продрался сквозь нее. Успел схватить Хвостова за руку. И догадался шепнуть ему на ухо:

— Прокопыч здесь, бежим скорее!!

В этот момент Захар тоже подхватил Николая, только с другой стороны. Все трое на максимальной рванули с пятачка. Пробежали шагов сто. Но Хвостов вдруг заартачился, стал вырываться, бормотнул:

— Пустите... к Прокопычу не пойду!

— К Прокопычу? — удивился Захар.

— Так Прокопыч же на пятачке... — вмешался Леонид.

Тут уж Николай взревел:

— Что, брехуны? Не сговорились? Небось, Блондин, думаешь по примеру дружка орден схлопотать? А зря — за культурность не дадут... Да легче ты, ухажер сопливый!

— Не крутись, не вырвешься!

— Захар! Ему ведь завтра летать...

— Ничего, он у меня еще и сегодня потренируется.

— А может, Николай слово даст, что домой потопает и — делу конец?

— Ладно, дам. Только руки пустите.

Молча друзья проводили Николая до выхода из парка. На обратном пути Захар нехотя рассказал, как Хвостов приставал к одной девчонке. Леонид подумал: «Наверно, к его партнерше».

— Все же следовало ему... — лениво закончил Блондин свой рассказ, — так, пару синеньких. Потом бы объяснял комиссару, за что ордена, а за что — по мордасам.

— Ну, он в лазарет ляжет — тебе же с ребятами лишние вылеты.

— Ради науки и пострадать можно.

— Думаешь кулаками просветить?

— А вы, сэр, все на сознательность надеетесь? Да что думать — лучше спляшу, пока баян играет. Жди на скамейке, я скоро.

Однако Леонид напрасно прождал друга. Захар возвратился в землянку, когда там уже все спали. А утром, против обыкновения, отмалчивался. И больше не приглашал Бахтина на прогулку к пятачку.

Через несколько дней Захар все же познакомил Леонида с Галей. Девушка держалась просто, скромно. Изредка удивленно взглядывала на Захара, будто еще не верила, что смогла приворожить такого парня.

Нет, эта не станет пересчитывать кубики на петлицах. И вместе с тем невозможно представить себе Галю покорно подчинившейся окрику: «Ты — пойдем!» Свои первые впечатления Леонид откровенно выложил Блондину, возвращаясь на аэродром. Захар улыбнулся, сказал:

— Еще не знаешь, что Галка на днях отмочила.

— Расскажи — узнаю.

— Ну, она опоздала на пятачок, а я, понятно, времени не теряя, с одной ее подружкой танцую. Вдруг Галка подлетает — и цап девчонку за руку. Как только в такой темнотище разглядела? Мы остановились, кругом нас затор образовался. А Галка подружку свою по щекам: раз, раз! «Ты, подлая, — кричит, — отбивать вздумала! Я тебя научу!» И еще ее: раз, раз! Та, конечно, в рев. Вокруг — смятение. Ну, я Галку без особых церемоний схватил и — драпу с пятачка. Она было начала вырываться, но быстро стихла. Подальше отошли, я и давай ее бранить. Так хоть бы что! Смеется, никаких признаков раскаяния. «Ты Хвостову, — говорит, — похлеще стукнул, когда он ко мне пристал». Пытаюсь стыдить: мол, девушке некрасиво драться.

«Нет, — отвечает, — куда хуже чужих парней переманивать. А ты — мой, так и знай».

— Ревнивая?

— Ужасно!

И тут вдруг Леонид не то сказал, не то спросил:

— А все же, наверно, важнее любить самому?..

Захар промолчал.

Не сразу Бахтин решился рассказать майору и Прокопычу о своих планах организации наведения. Но как только заговорил — увлекся. А Прокопыч прервал на полуслове:

— Гляди, майор! Парень-то хват, на что замахивается!

Но Старик, явно заинтересованный, подбодрил:

— Давай, давай — выкладывай!

Леонид вспомнил: в академии им читали, как у Халхин-Гола наши применяли радиостанции для наведения. Понятно, сослался. Майор усмехнулся, спросил:

— Тебе небось бинокль потребуется?

Бахтин знал: их в полку всего-то два. Поспешил с ответом:

— Конечно, товарищ майор!

И в подкрепление своей позиции, добавил:

— Потом, мне думается, летчики будут себя смелее чувствовать, смогут атаковать без этой вечной оглядки — как бы сзади не сшибли...

Опять Прокопыч не дал договорить, крикнул:

— Но-но, парень! В авиации трусам не светит!

— Я о другом, товарищ комиссар...

Тут уж Бахтина майор перебил — предусмотрительно вмешался в спор:

— Вообще-то верно: иной раз, атакуя, войдешь в

азарт: «Вот я его сейчас!» А тебя самого — по затылку! На спине ни у кого глаз нету.

— Так я же и предлагаю: летчикам во время патрулирования настраиваться на ту волну, на которой я буду команды подавать.

— Ишь ты! Полком вместо нас хочет командовать! — добродушно посмеивался комиссар.

— Полком не полком, а в бою еще попросите: «Подскажи, мол!»

Однако майор не принял веселого тона, вполне серьезно заметил:

— Ну, на бога надейся, а сам не плошай — личной осмотрительности летчика твое наведение не заменит.

— Зато дополнит, усилит.

Все-таки Старик мялся: новое дело потребует хорошей постановки — на радиостанцию придется сажать Бахтина, автора идеи. Но кого же в разведку? Ведь если назначенный взамен неопытный летчик плохо проведет съемку? Шкуру спустят! А за наведение никто не спросит.

И Бахтин, догадываясь о причинах колебаний командира, сказал невесело:

— Я сначала один попробую. Потом возьму кого из молодежи — в натаску. И дня через два, когда у него пойдет, — вернусь к разведке. А он другого примет в напарники. Так можно всех оттренировать — и в бою пригодится.

— Пожалуй, рискнем, командир? Парень вроде бы дельно советует, — одобрил комиссар.

— Ну, ладно, уговорили, — согласился наконец майор.

И тут же добавил:

— Теперь, Прокопыч, вместо него ищи разведчика.

На радостях Бахтин не выдержал, сунулся:

— Блондина!

— Вот, видел? — усмехнулся майор. — Он и впрямь думает полком командовать! Это дело, сынок, мы уж как-нибудь сами обмозгуем. А ты давай к начальнику связи — договорись насчет техники. Скажи: я велю получше выделить — не дерьмо старое. Ну, лети!

В тот же вечер за ужином лейтенант Хвостов крикнул через весь стол, как бы обращаясь к своему дружку, но на самом деле явно рассчитывая на общее внимание:

— А Бахтин-то наш все в разведке сачкует! Небось петушиное слово знает — вот и работенка ему идет, которая полегче.

Леонид еще раньше заметил: случай с двумя мессершмиттами, сгоревшими в балке, вызвал у Хвостова повышенный интерес к разведке. Хвостов даже комиссара просил о переводе. Еще бы! Всего-то делов: от мессеров спасаться. А к ордену представили. Сам Хвостов наград не имел, хотя летал на прикрытие войск — сталкивался с истребителями врага чаще, чем разведчик.

И сейчас Хвостов удачно выбрал момент: командир и комиссар только что ушли в штабную землянку. А летчики, после дня, прошедшего без потерь, после законных ста грамм и сытного ужина, были настроены добродушно, рады любому предлогу, чтобы посмеяться.

Первым захохотал дружок Хвостова. За ним и молодые пилоты, сидящие возле него.

А Леонид, скрывая улыбку, сказал, как мог серьезнее:

— Эх, видно, слабовато мое петушиное слово —

ухожу из разведки, на другую должность ставят. Так что если завидуешь, скорей обращайся к начальству, пока место свободно.

— Ври больше!

— Не веришь — не ходи.

Теперь Леонид не сомневался: прямо из-за стола Хвостов побежит к Прокопычу проситься на «более сподручную работенку». Подумалось: «Хвостов напорист — пожалуй, убедит. Ну, на своей шкуре испытает, каково быть разведчиком...»

Бахтин открыл глаза с отчетливым ощущением: надвигается беда. Взгляд уперся в какую-то черную стенку... Ошалев, Леонид мгновенно перевернулся на живот, оттолкнулся руками и ногами от еще теплой земли и вскочил — словно ныряльщик, всплыл со дна моря на поверхность. В утренних сумерках простирался перед ним все тот же, что и вчера, истыканный воронками, перерытый окопами кусок степи — передний край. Только притихший в предрассветном ожидании. А сам Леонид стоял в узкой щели своего КП, как в кабине самолета: высунувшись по грудь, опираясь руками о борта...

С облегчением он вдохнул воздух полной грудью: надо же — тишина разбудила! Ведь пока на передовой рвались снаряды ночного беспокоящего огня, спалось отлично.

Бахтин оглянулся, посмотрел вниз, в балку. Сквозь редеющую полутьму увидел: к склону прижалась его радиостанция наведения. Она неплохо прикрыта от обстрела немецкой артиллерии. И с другой стороны надежно защищена обваловкой. А сюда — на гребень балки, откуда обзор можно считать идеальным, —

выведен выносной микрофон с наушниками и переключателем. Бахтин сможет наводить своих ястребков, не спускаясь к рации. Его позывной на сегодня — «Волга-7». А для самолетов полка — «Сокол».

Одним прыжком лейтенант вылетел из окопчика, по-мальчишески — лежа — скатился на дно балки. Поднявшись, отряхнул пилоткой приставшие к гимнастерке сухие травинки. Еле удерживаясь от подталкивающего в спину желания побежать, пошел будить радистов.

Первым пролетел на бахтинском ишачке почти над самой станцией Хвостов — в разведку. И Леонид придирчиво прислушался: не стучит ли мотор? Нет, он работал по-прежнему ровно, маслянисто. Но все же Бахтин ощутил укол в сердце. Ревность к ишачку, отданному другому? Или зависть к летающему? — тот сейчас любуется бешеным бегом степи под крылом. А Хвостов, словно угадав мысли Леонида, еще ниже прижал машину — перелетел линию фронта чуть ли не по головам сидевших в окопах солдат. У Бахтина отлегло от сердца. Значит, не зря он передавал Хвостову свой опыт: рассказывал о преимуществах бреющего, об особенностях захода на цель, о приемах выхода из-под обстрела зениток после фотографирования... Леонид пожелал Соколу-33 ни пуха ни пера. В ответ Хвостов традиционно послал Бахтина к черту. Так они установили связь.

Но тут прибыло для прикрытия войск звено Захара Рулева. Проверив слышимость с Блондином, Бахтин принялся методично следить за воздухом. Поворачиваясь в своем окопчике на каблуках, придирчиво обметая взглядом небосвод вдоль горизонта, ловил неожиданно возникавшие подозрительные точки... Увы, после рассматривания в бинокль они неизменно оказы-

вались степными орлами, с утра пораньше вылетающими на охоту. Только немцы почему-то не показывались.

— Тебя боятся! — острил по радио Блондин.

Бахтин обрывал друга, запрещал забивать волну наведения посторонними разговорами. Захар на время смолкал, брался обучать своих гавриков — молодых сержантов, недавно прибывших в часть из училища. Изредка Леонид слышал веселый басок Блондина:

— А ну, ребятки, переворот с подскальзыванием! Обоим вправо. Гоп!

И через секунду:

— Миша, держи ногой!

— Костя, куда носом зарылся!

Но Хвостов молчал. И немцы по-прежнему не появлялись. Однако, проводив звено Захара пожеланием счастливой посадки и получив второй раз в это утро традиционный ответ, Леонид ощутил тревогу: Хвостов так и не подал голоса. А ведь шел уже почти без горючего — истекало время разведывательного полета.

Как Бахтин ни всматривался — ничего не обнаруживал. Неужели прозевал Хвостова? Нет, это невероятно.

«Он мог пересечь линию фронта и на другом участке. Тянул, куда поближе...» — пытался успокаивать себя Леонид, когда стрелки часов отмели последнюю надежду на возвращение Хвостова. Хотя, конечно, знал: вряд ли тот рискнет начать свою новую «работенку» с ослушания приказа. Он так рвался в разведку. Правда, позже, когда услышал, что Бахтин назначен на радиостанцию наведения, подосадовал: вот куда бы перейти. Вовсе не летать — живым остаться! Выходило, что этот хитрец Бахтин опять его обштопал. И Хвостов принялся искать сочувствия у летчи-

ков. Но утром перед полетами майор объявил: «Если опыт окажется удачным, вслед за Бахтиным все передежурят на станции наведения». Так что намеки Хвостова не получили общественного отклика...

«Нет, скорее всего он где-то бродил, а теперь уже давно дома», — через силу убеждал себя лейтенант Бахтин.

3

Да, каблуками он провертел в окопчике ямку. Ремешком бинокля безнадежно засалил воротничок гимнастерки. И от давящей пружины наушников каждый вечер ходил с головной болью. А навести так никого и не сумел — авиация противника не показывалась на его участке. Словно немцев и впрямь напугали наведением. Впрочем, если б они что-то узнали — давно бы накрыли балочку артиллерийским огнем.

После трех дней сидения у переднего края майор Чихачев приказал перебазироваться к железнодорожной станции, снабжающей фронт. И сегодня вблизи нее, под небольшим курганом, лейтенант Бахтин вторично развернул свою рацию. А сам взобрался на вершину холма. Но хоть и смотрел неотрывно в небо, ничего не обнаруживал, кроме оборонительного круга. Наши истребители летали друг за дружкой, изящно кренясь внутрь замкнутой кривой, описываемой ими вокруг станции. Будто вальсировали, а на самом деле лишь утюжили воздух над разгружавшимися эшелонами.

И Бахтин неодобрительно поглядывал на самолетную карусель. Даже насмешливо декламировал про себя: «Однообразный и безумный, как некий очень

важный чин, кружится вальса вихорь шумный... и понапрасну жжет бензин». Леонид знал: летчиков раздражает этот дурацкий тактический прием. И мысленно возмущался: «Нашлись на нашу голову стратеги! Они, видите ли, считают, что если немецкий истребитель вдруг попробует атаковать кого-нибудь в хвост, так идущий сзади ястребок отразит мессера, помешает ему сбить товарища. Только мессы и не думают заходить в круг. Наберут высоту в сторонке и бросаются сверху. Вот и поймай их в прицел, когда они лишь на мгновение пересекут плоскость оборонительного круга. А как по ним дать очередь? Бесприцельно? Зато немцы ведут огонь точно — с пикирования. Да еще ведомый месс отсекает следующего ястребка, не дает ему защищать атакованного товарища. А после атаки немцы проскакивают далеко вниз — пойди-ка догони их! Потом они опять без помех, как на параде, полезут в стороне на высоту. И снова повторят атаку. А ястребки всё будут кружиться на одном месте. Однообразно и безумно».

Бахтин вдруг схватился за бинокль, вскинул к глазам, впился взглядом в горизонт... Нет, показалось. Он выпустил бинокль из рук. Тот, конечно, не упал на землю — покачался, повис на ремешке...

Лейтенант продолжал размышлять. Понимал: пока у мессеров такое превосходство в скорости и скороподъемности, оборонительный круг будет существовать. Ведь ишачки не могут ни догнать немцев, ни уйти от них. Невольно Бахтин сравнил наши истребители со сворой постаревших гончих, добросовестно идущих из последних сил по волчьему следу. А он, словно охотник, маскируясь на лазу зверя, еще надеялся наведением помочь им в трудной борьбе.

Смена очередных шестерок прервала его мысли.

Нужно было вступать в связь, проверять позывные. На этот раз в оборонительный круг встали всего пять самолетов: две чайки от соседей и звено Захара Рулева.

Захару, конечно, досаждала монотонность кружения. Но едва ли не сильнее злила вынужденно малая скорость. То и дело приходилось сбрасывать газ, чтобы не обогнать идущую перед ним чайку. А ему всегда хотелось догонять, обходить... На лыжне, даже на улице — быстро шагающих пешеходов. И уж тем более в воздухе! Ишачков за то и любил, что не было у них до войны соперников. «Только в этом чертовом хороводе всем танцорам надо одинаковую прыть иметь, не то — немцы поодиночке вмиг раскокают. Да вот впрягли с черепахами заодно — и крутись, как знаешь», — ругался про себя Блондин.

Он было попробовал развлечься: стал подражать ныряющему полету дятла. Уходя вниз, разгонял скорость и тут же гасил ее, возвращаясь в плоскость оборонительного круга. Но ведомые немедленно последовали примеру своего командира. А Леонид на волне наведения ехидно осведомился:

— Блондин! Что это у вас за цилиндр с прихрамыванием вместо круга!

Пришлось рявкнуть на своих гавриков, восстановить боевой порядок, снова включиться в усыпляющее кружение. «Хорошо, хоть Леонид за нами поглядывает, не дает врагу подойти незамеченным», — думал Захар. Впрочем, доверяя идее наведения, вполне полагаясь на бдительность друга, он и сам не плошал. Продолжая уныло вальсировать, придирчиво осматривал то переднюю, то заднюю полусферы. Вот бы сейчас с глистами подраться! Этих вытянутых, остроносых

немецких истребителей мессершмитт-109 лейтенант Рулев ненавидел. И, конечно, знал: когда злой идешь в драку, то и стукнешь крепче, и боли не почувствуешь — жалеть себя не станешь. А настроение у него сегодня... Хоть песни пой! Вечером вчера, когда от Галки уходил, вдруг почуял: хочет она что-то сказать, да не решается. Стал спрашивать — молчит, стеснение одолело. Ну, пыхнул нарочно папиросой посильнее, осветил ей лицо. И тут, словно в башке зажигание включилось, мотор заработал — догадался! Сказал ласково: «Теперь, смотри, чтобы сынишку нам». То-то Галка вскинулась! Обняла, прижалась благодарно, затихла... Долго от нее уйти не мог. Потом Прокопыч ругался: «Почему опаздываешь? Не пущу больше!» Зато Старик патрулировать назначил во вторую смену... Нет, все же Галка за последнее время здорово переменилась. Раньше ей не только ничего не страшно, да и задуматься вроде бы не над чем и некогда. Разве сравнишь с той, какую в первые вечера провожал с пятачка домой?

В наушниках раздалось слабое потрескивание. Тотчас Захар насторожился. Принялся осматриваться. Но в небе ничего подозрительного не обнаружилось. Все так же по оборонительному кругу монотонно вращались ишачки и чайки. А Леонид помалкивал.

Захар успокоился... И снова — мысли о Галке. Веселая, румяная, особо смуглая в своей белой украинской рубахе, расшитой по вороту. Верно, смягчился у нее характер, подобрела она как-то, нет прежней резкости. И в суждениях... Вот позавчера невольно подслушал. Заранее с Галкой уговорился встретиться на пятачке — давно не плясали. Однако Прокопыч вздумал проверять порядок в землянке. Так что к пятачку удалось выйти с большим опозданием. Баян молчал,

девчата, видно, уже расходились. Только в одном углу за кустами еще слышались голоса. Ну, двинул туда наугад. Немного не дойдя, остановился. Интересный там спор шел — не хотелось прерывать. Задорно одна дивчина доказывала: мол, сейчас всем главное — замуж! Аттестат получить... да и другие льготы положены командирским женам. А как этого добиться — неважно. Лишь бы все по закону оформить. «Не то поубивают наших парней — наплачешься в одиночку после войны, с горя и за старика выскочишь». Галка ей возражала. Но как-то необычно: тихо, задумчиво, будто сама себе. Мол, и вовсе не главное, чтобы по закону, а главнее всего — по любви! Мол, мы молодые, у нас чувства. Потом, когда остынем, ничего этого не нужно будет. Вон как бабы рассуждают; хату им, корову, гусей, поросей... И ты вроде них — молодость на гроши меняешь.

Нет, не стал Захар в такой спор мешаться. От кустов отступил незаметно, ушел с пятачка. Подождал Галину в палисаднике, у хаты. А только обнял и сразу: «Давай, Галка, распишемся!» Ничего не сказала Галка. Хотя — он чуял — обрадовалась. Все-таки зажала ему рот ладошкой, шепнула нежно: «Ну, теперь не треба, после скажешь». И верно, сделалось им тут не до разговоров...

А что, если Галина тогда подумала: «Все равно улетишь — позабудешь?» Ну, да еще не раз поговорим, поймет. Только бы полк не перевели отсюда. Могут ведь ради маскировки перебазирование устроить. Давно на одном аэродроме...

С досады Захар резко оттолкнул ручку управления — жестом как бы отстраняя неуверенность. А самолет послушно нырнул, вырвался из оборонительного круга и, набирая скорость, пошел к земле. В ту же се-

кунду Захар уловил идущий издалека, но подчеркнуто спокойный голос друга:

— Блондин! Я — Волга-7! Со стороны Кушелевки на высоте трех тысяч подходят две осы. Как слышите меня? Прием.

Захар усмехнулся: Леонид предпочел обозвать ненавистных глистов поблагозвучнее! Но тотчас откликнулся:

— Волга-7! Я — Блондин! Вас понял.

Энергично выводя машину из пике, ощутил в груди знакомый холодок веселой решимости. Подумал: «Вот и кстати... Драться — не терзаться!» Он спокойно огляделся. Немецкие истребители быстро приближались. Однако и Захар был уже близко к своему месту в круге, когда его настиг совет Леонида:

— Блондин! Оставайся чуть ниже строя, набирай скорость. В момент атаки ос выходи боевым разворотом ведущему в лоб. Он наверняка отвернет. Не прозеваешь на выводе — собьешь. Как понял? Прием.

— Волга-7! Вас понял. С планом согласен.

Рулев прекратил набор высоты — помчался под оборонительным кругом, разгоняя машину до максимальной скорости. И крикнул:

— Ребятки! Я — Блондин! Во время атаки глистов ставьте вираж покруче. Проскочат — дайте им по хвостам одну короткую. И сразу — на место, преследованием не увлекайтесь. Как поняли? Прием.

Ишачки и чайки подтвердили: все ясно. А мессеры, словно горнолыжники, шедшие до того ровным верхом, вдруг перевалили через хребет и стали сваливаться на ястребков — заскользили друг за другом по невидимому склону воздушной горы. Они все убыстряли пикирование. Вот уж им до оборонительного круга осталось метров семьсот, шестьсот...

— Соколы! Туз! — подал Леонид заранее обусловленный сигнал.

И с облегчением отметил: ишачки и чайки разом рванулись — явно прибавили газу. Этим отчасти затруднили мессерам атаку.

«Однако не пора ли вступить Захару?» — подумал Леонид. И невольно пожалел, что только микрофон держит в ладонях. С мстительным восторгом двинул бы вместо друга ручку управления, нажал на педаль — боевым разворотом вышел бы осе в лоб. И весь сосредоточился бы в кончиках пальцев, лежащих на гашетках пулеметов...

Но в ту же секунду лейтенант Бахтин заметил: ведущий мессер нацелился на Сокола-5. Леонид немедленно предупредил летчика. Тот резко увеличил крен. Взаимное угловое перемещение осы и чайки изменилось. Теперь немец промажет, если не довернет. А главное, Сокол-5 уже не стоит на пути Захару...

— Блондин! Атакуйте! — подал команду Леонид.

И опять, словно бы сам помчался в своем ишачке, — испытал щекочущее прикосновение больших пальцев к гашетке, ярый азарт охотника. А вместе с тем — надежду болельщика. Только где-то на донышке сердца ощутил и легкий укол — тревогу за друга. Понимал: Блондин идет вверх — с каждой секундой гасит и без того меньшую, чем у врага, скорость. Значит, делается все слабее, все уязвимее... Набрав полкилометра, его ишачок окончательно выдохнется — трудно станет управлять им. И Захару придется падать вниз — подставлять мессерам беззащитный хвост. Вовремя ли подана команда? Разминется ли уже Блон-

дин с немцами, когда наступит момент потери управления? Особенно опасен идущий сзади ведомый...

Эти сомнения едва промелькнули, как Леонид почувствовал: кто-то подошел почти вплотную, слегка тронул плечо, вроде даже назвал его фамилию. Но лейтенант Бахтин не мог оторваться от взмывшего вверх ишачка — в любую долю секунды должен был прийти на помощь Блондину. Отняв мембрану от губ, зажав ее ладонью, Леонид крикнул:

— Не мешайте работать!

И сразу же снова поднял микрофон ко рту. Поглощенный развертывающейся в небе схваткой, напряженно всматриваясь и вслушиваясь, он не глядел на землю — конечно, не увидел штабную эмку, выскочившего из нее капитана Воротова. И теперь больше не обращал внимания на стоявшего за спиной человека.

А Рулев уже начинал боевой разворот, когда услышал команду Бахтина. Она прибавила уверенности: совпал выбор момента для начала атаки! Вцепившись глазами в надвигающуюся осу, Блондин безошибочно вывел ишачка на лобовую. И по тому, как внезапно вздрогнула осиная талия мессершмитта, как бы вильнула в сторону, — понял: немец, увлеченный атакой, слишком поздно заметил его маневр и растерялся. «Слыхал, должно быть, о русских таранах», — позлорадствовал Захар. Дал пристрелочную очередь. Опять оса чуть дрогнула. Дернулась, чтобы отвернуть, или сама ответила огнем? Но лейтенант Рулев настойчиво сближался. И уже накоротке, зная, что не промахнется, выпустил длинную трассу бронебойно-зажигательных. Мелькнуло: «Перебью трубки — выпущу водичку». Тотчас почуял: попал! Снова посмеялся про себя: «У нас-то охлаждение воздушное». А еще через долю секунды, торжествуя, всадил в светло-голубой живот

начавшего выводить из пике мессера короткий кинжал третьей очереди. И, продолжая идти вверх, еще не оглянувшись, уже твердо знал: этот удар — смертелен. Невольно испытал облегчение, предательский спад. Однако в наушниках вовремя зазвучал спокойный голос Леонида:

— Блондин! Ведущий сбит! Ведомый доворачивает на вас справа и чуть выше.

Деловой тон друга, уставное «вы» — мгновенно отрезвили Захара. Его ишачок, задыхаясь, дотягивал последнюю сотню метров воздушной горы. Но в оставшиеся до верхней точки секунды Блондин успел переложить рули, столкнуть машину в ленивый, размытый иммельман. Подумал: «Лишь бы удержаться на высоте... глист проскочит». И верно: ишачок, перевернувшись через крыло, вышел в горизонтальный полет, а ярко-красная трасса снарядной очереди прошла правее. Вслед за нею промелькнул и мессер. Во время коротенькой, зато ровной прямой мотор ишачка отдышался. А главное, теперь они с немцем поменялись местами: Рулев оказался чуть выше.

Капитан Воротов, стоя в узком окопчике за широкой спиной Леонида, не мог протиснуться вперед, чтобы как старший потребовать от младшего выполнения приказа. Он не понимал, почему этот лейтенант так волнуется, кричит? Будто можно с земли помочь летчику, ведущему бой на высоте двух километров?

Капитан был убежден: просто дисциплина в полку майора Чихачева находится не на должном уровне. Вот он, например, только вежливо заметил, что не следовало самолично назначать в разведку вместо лейтенанта Бахтина неопытного летчика. Но майор отве-

тил грубо: «Полком командую я!» И демонстративно отвернулся. А комиссар весьма недвусмысленно пожал плечами. Потом оба они категорически отказались выделить самолет под новый фотоаппарат, привезенный им. Хотя... не все же машины у них в ремонте? Конечно, посланная перед выездом шифровка еще не дошла до полка. Пришлось связываться со штабом фронта по телефону окольными путями, чтобы получить подтверждение начальника штаба. И позже... Капитан попросил направить к нему лейтенанта Бахтина для участия в установке фотоаппарата на выделенный все же истребитель. А майор заявил, что Бахтин занят. «В воздухе?» — «Нет, выполняет более важное задание». Майор тянул, долго не говорил, где находится лейтенант, отказывался вызывать его в полк по радио. Даже разрешение заправить свою эмку бензином Воротов получил от комиссара чуть ли не в виде одолжения. А как фамильярно держится майор Чихачев с летчиками! Неудивительно, что и Бахтин сейчас ведет себя по меньшей мере нетактично. Капитан положил руку на плечо лейтенанта. Сказал резко, подчеркнуто командным тоном:

— Прекращайте болтовню! Вы поступаете в мое распоряжение!

Но Леонид даже не обернулся, завопил в микрофон:

— Блондин! Месс левее выходит из пике. Лови на выводе!

И невольно капитан тоже задрал голову в небо.

Захар только тут заметил: месс, едва проскочив мимо него, оказывается, сразу переломился — полез вверх. Да слишком круто взял, не выдержал пере-

грузки. И теперь беспомощно зависал, покачиваясь с крыла на крыло.

Вторично Рулев бросился в атаку — недаром пересидел немца на высоте! Надо было спешить — в любую минуту вражеский летчик мог прийти в себя. Действительно, Леонид уже предупреждал:

— Блондин! Месс очухивается, дай ему длинную!

В то же мгновение от ястребка к мессершмитту протянулась золотистая цепочка очереди.

Капитан Воротов изумился: «Неужели можно с земли управлять стрельбой воздушных пулеметов?» До сих пор он слыхал лишь о самолетах, корректирующих с воздуха огонь полевой артиллерии. Или в каждой войне обязательно появляются какие-нибудь новшества?.. Капитан снял руку с плеча лейтенанта.

А месс после очереди Блондина свалился в пике. Сунув сектор газа далеко за ограничитель, лейтенант Рулев несся у него в хвосте, с яростью, с упоением бил... И все-таки отставал. Только не мог понять: почему немец не пытается маневром выйти из-под огня, продолжает идти к земле? Надеется на свою несравненно большую, чем у ишачка, скорость пикирования?

— Блондин! Дистанция велика, зря патроны жжешь. Он, верно, ранен — кончай преследовать, я послежу,— вмешался Леонид.

Плавно выведя самолет из пике, переходя в набор высоты, Захар с сожалением оглянулся. И тут от вражеского самолета что-то отвалилось! А сам он закрутился, заштопорил... Точно так опускался по витой проволоке, неизменно вызывая восторг пятилетнего Захарика, легкий жестяной пропеллерчик, сделанный отцом. И весело дребезжал, шелестел... А сейчас в наушниках гремел Леонид:

— Поздравляю, Блондин! Ты не Сусаниным — Александром Невским вышагиваешь!

— Бросьте скромничать, сэр. Вместе сбивали — на двоих и запишем.

— Нет, я на твоих победах в рай не въеду. И прекратим забивание связи пустыми разговорами.

Леонид досадовал. Может быть, чувствовал за спиной постороннего — вот и срезонерствовал некстати? Он резко обернулся, узнал капитана, сбросил наушники. Однако Воротов опередил вопросы, сам спросил начальническим тоном:

— Что у вас тут происходит?

— Как видите, немцев сбиваем.

— А в чем выражается ваше участие?

— Оповещение о противнике, наведение наших истребителей на него по радио, управление воздушным боем.

— Почему вы не летаете на разведку?

— Я полком не командую.

— Но воздушным боем беретесь управлять, а вместо вас неопытный человек полетел. Теперь единственный в полку фотоаппарат — утрачен!

— Может быть, погибший летчик — более тяжкая потеря?

— На войне убивают.

— И летчиков чаще, чем штабных...

— Это демагогия!

— Нет, статистика.

— Прекратите неуместный спор!

Бахтин промолчал, поднял бинокль. Увидел: Рулев встал в круг, ястребки продолжали монотонно вертеться над станцией. Он снова повернулся к Воротову. Сказал спокойно:

— Журналисты некоторые умиляются в газетах нашими ребятами. «Ах, он себя не пожалел — таранил! Ах, герой!» Да разве лейтенант Рулев сегодня у вас на глазах от хорошей жизни таранить бросался? Единственный шанс ловил! На психику немца ставил. Знал, что тот первым отвернет, постарается из лобовой атаки выйти. Зачем мессеру таран? Он и так свое возьмет. Скорость у него в полтора раза, скороподъемность чуть не вдвое больше... Ишачку или чайке ни догнать, ни уйти — крутись на одном месте. Но в лобовой у нашего парня хоть надежда есть — не прозевать момент, когда немец начнет выводить, заранее угадать суть его маневра. И очередь влепить, смотря по тому, куда тот метнется. Если вверх — по животу бить, по хвосту. В сторону отвалит — по боку полоснуть. А спикирует — надо успеть сверху по кабине ударить. Вот тут иногда с земли виднее — можно вовремя подсказать...

— Вы что-то путаете, лейтенант! И кроме того, — ровным голосом, будто не замечая волнения собеседника, продолжал капитан, — вы пытаетесь приписать советскому летчику философию отчаяния, которая не свойственна...

— Какая там философия! Простой расчет. Умение приспособиться к любым условиям войны. Это, кстати, черта русского характера.

Леониду вдруг вспомнился рассказ Блондина об одном особенно тяжком воздушном бое. Тогда кто-то из ребят в решающую минуту тоже пошел на таран. Командира полка защитил. Однако чуть-чуть не рассчитал. И при выводе врезался в месса. Тотчас все немцы вышли из боя. Конечно, кроме протараненного. Ну, и наш погиб... А майор Чихачев не командовал бы сейчас полком, если б не тот паренек. Блондин говорил, что он всегда первым в драку лез. Хоть и летал

не лучше других — маловат был ростом. Техники ему даже надставляли педали руля поворота специальными деревянными колодками — иначе короткие ноги летчика не доставали до них. Леонид не смог вспомнить фамилии — трудно, когда только со слов знаешь человека. Да и что вспоминать? Таран есть таран — подходящая работенка для настоящих людей.

Бахтин заметил: Воротов взирает на него с удивлением. Но ответил не капитану — скорее собственным мыслям:

— Погибнуть легко — победить труднее. А жертвовать собой иной раз вынуждает сама техника, на которой воюем.

— Прекратим этот разговор. Вас отзывают. Имеется распоряжение начальника штаба фронта о немедленном возобновлении полетов на разведку.

— Для меня существует лишь приказ командира полка. Он у вас есть?

— Нет, но...

Снова Леонид отвернулся. Вдруг вскинул бинокль... И, сильно растянув пружину, надвинул наушники — отгородился ими от Воротова. Схватил микрофон, крикнул:

— Блондин! Я — Волга-7! По направлению Синявка, Усть-Койсуг идут без сопровождения двенадцать Ю-87. Высота два с половиной. Как поняли меня? Прием, прием.

Только теперь Леонид догадался о замысле немцев. Мессеры должны были связать ястребков воздушным боем, лишить их возможности выйти из оборонительного круга. Тем временем пикирующие бомбардировщики Ю-87, прозванные лапотниками за свои неубирающиеся шасси, одетые в обтекатели, действительно похожие на лапти, спокойно бомбили бы эшелоны на

станции. «Совсем обнаглели», — подумал Леонид. А в микрофон сказал деловито:

— Блондин! Советую встретить лапотников на подступах — не допустить до объекта.

Захар, как всегда, ответил кратко:

— Вас понял!

А Воротов попытался вмешаться, крикнул:

— Выполняйте последнее приказание старшего!

Но спина лейтенанта, словно плотно запертая дверь, закрывала ему вход в НП. И Леонид больше не оборачивался. То и дело подносил микрофон ко рту. Успел сообщить ястребкам, что бомбардировщики начали вытягиваться в цепочку. Этот маневр обычно предшествовал пикированию на цель. И предупрежденные вовремя летчики Блондина ударили по самолетам противника в самый невыгодный для немцев момент: воздушные стрелки лапотников не могли поддерживать друг друга огнем. В первой же атаке сам Рулев и двое его ведомых сбили каждый по лапотнику. Юнкерсы даже не включили свои рассчитанные на устрашение сирены, за которые прозывались еще и музыкантами. Их строй смешался, они сбрасывали бомбы неприцельно, разворачивались, не долетая до станции, поспешно удирали... Однако музыканты — не мессы. Этих ястребки могли догнать.

Бахтин непрерывно подсказывал, предупреждал... Когда одна из чаек вдруг задымила — посоветовал летчику покинуть самолет на парашюте. И едва тот выпрыгнул, как в машине взорвались бензобаки. Леонид понимал: в таком бою без потерь не обойтись. Зато они сбили семь самолетов противника, отстояли эшелоны, обеспечили бесперебойное снабжение войск. Да, возвратившись на аэродром, летчики расскажут о на-

ведении! А вечером на разборе полетов майор подведет итоги... Нет, не зря лейтенант Бахтин добивался выделения рации...

Капитан Воротов, всякий раз, когда бомбы падали возле кургана, методично приседал, скрываясь в окопчике. Ему казалось — спина лейтенанта молчаливо не одобряет его физкультуру. Воротов не догадывался, что самому Бахтину никак нельзя заниматься такой зарядкой. Ведь со дна окопчика он не мог бы следить за воздушным боем — видел бы лишь какой-то клочок неба. Значит, не сумел бы выполнить свою работу — из охотника, стреляющего в зверя очередями радиоподсказок, превратился бы в бесполезное чучело. Капитан после одного из наиболее длительных приседаний заметил: Бахтин, стоя по грудь в окопчике, продолжая подавать в микрофон команды, левой рукой почему-то держится за шею. Присмотревшись, увидел: сквозь пальцы лейтенанта сочится кровь. Немедленно вынул свой индивидуальный пакет — принялся перевязывать касательную рваную рану. Бахтин даже не оглянулся. Только левой рукой благодарно пожал кисть капитана, когда тот закончил бинтование. А через минуту Воротов снова приседал — на курган с воем летела очередная немецкая бомба.

Но вот перестали падать бомбы, вернулись в оборонительный круг увлекшиеся преследованием ястребки. Леонид передал в полк радиограмму — подтверждение на сбитые самолеты противника. Наконец обернулся к Воротову. Снимая наушники, спросил как ни в чем не бывало:

— Не хотите ли, товарищ капитан, со своей стороны удостоверить потери немцев?

— Пожалуйста! Могу даже в письменной форме — сейчас возвращаюсь в полк, если эмка цела. Фотоаппарат мы начнем ставить без вас — вернетесь вечером, посмотрите.

— Хорошо, а я здесь себе смену подготовлю и, как кончите устанавливать, — возвращусь к разведке. Теперь, наверно, польза наведения всем будет ясна.

— Да, пожалуй.

Они попрощались.

Лейтенант Бахтин продолжал обметать взглядом горизонт. Болела шея — приходилось поворачиваться всем корпусом. Но немцы не показывались. Воспользовавшись перерывом в работе, один из радистов принес с ближнего хутора крынку прохладной ряженки и буханку ноздреватого, словно сыр, пшеничного хлеба. Высокий, весь дырчатый, воздушный каравай мягко приседал под ножом радиста, худел каждый раз на один ломоть и снова с облегчением выпрямлялся. Леонид и шофер завороженно следили за растущей горой кусков. Наконец ряженку разлили по кружкам — начался обед.

Бахтин успел еще сочинить для стенгазеты рифмованное описание подвига Блондина под полемическим заголовком: «Не тараном, а обманом!» Песенно-былинный слог этого произведения должен был понравиться Прокопычу. И тут передышка кончилась.

Рулев как раз готовился смениться, когда Бахтин заметил: к станции с разных сторон приближаются двенадцать мессеров. Он сразу скомандовал другу: «Отходите на аэродром бреющим!» — ведь в бензобаках группы почти не оставалось горючего. Блондин умело выполнил команду, и его летчики не понесли потерь. Зато заступившей шестерке капитана Констан-

тинова пришлось тяжко. Одновременными атаками шести пар немцы быстро разогнали оборонительный круг. Бахтин не мог уследить за всеми участниками неравных схваток. Многим помогал, но часто и не успевал разобраться в непрерывно меняющихся взаимных положениях восемнадцати самолетов, которые клубились у него над головой. Лишь однажды удачно навел капитана Константинова — тот свалил зазевавшуюся после победы осу. А немцы сбили четырех ишачков.

Правда, Бахтин сумел подсказать Константинову, как лучше вырваться на бреющий в момент смены мессеров. Однако нашу очередную шестерку новая группа немецких истребителей успела рассеять, даже не дав ишачкам подойти к станции.

И тогда появились лапотники. Они летели волнами по двенадцать, а то и по восемнадцать самолетов. Будто стремясь оправдать свое второе прозвище, музыканты включили сирены — с устрашающим воем переходили в пикирование на цель.

Нарушив в спешке правила радиосвязи, Бахтин открытым текстом передал в полк: «Выходить на объект прикрытия бреющим!» И его не отругали — послушали. Теперь наши истребители подкрадывались «ползком». Только вместо шестерок на дежурство прилетали два-три самолета... Разве могли они защитить станцию?

Все же Бахтин подстерегал момент, когда немецкие бомбардировщики на переломе после пикирования оказывались ближе всего к земле. И вовремя подавал команду: «Атакуйте!» Так — короткими жалящими уколами — майор Чихачев, лейтенант Рулев и капитан Константинов сбили трех музыкантов. А мессы ходили парами высоко в небе.

Но Леонид видел: на путях вспыхнули пожары, в эшелонах то и дело раздавались взрывы... Он охрип от крика, шея у него раздулась — под бинтом дергалась и билась какая-то жилка, каждым ударом усиливая ломоту. И кажется, лейтенант Бахтин убедился, польза наведения ох как еще не ясна! Впрочем, без него могло быть куда хуже... «Своего рода философский вывод из событий дня», — иронизировал Леонид, трясясь в машине по дороге на аэродром. Рация ползла медленно, переваливаясь с колеса на колесо — шофер опасался за пробитую осколком покрышку, а запасной камеры не было.

Да, Леонид понимал: массированный налет вражеской авиации на станцию снабжения фронта предвещал подготовку немцев к новому наступлению. А лето началось с падения Керчи. Потом Севастополь, под Харьковом намечалось что-то недоброе... Неужели здесь тоже? А тут еще Воротов. Дернуло объяснять ему лобовую, таран... Много ли он понял, если никогда ни за какую ручку, кроме самописки, и в мыслях-то не держался?.. Да и черт их знает — этих штабников. По всему видно, что способен перетрусить. Очень уж он кроток был, особенно под бомбами. Ну, думай не думай — что толку? Дальше фронта не пошлют, на помеле летать не заставят. Вот уснуть бы!

Леонид откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза. Но шею, голову, казалось все тело рвала боль.

4

Два дня по землянкам упорно ползли неясные слухи. Одни говорили: «Дадут новые самолеты!» Другие ждали какой-то крупной перемены в судьбе всего лет-

ного состава. И зная: дыма без огня не бывает, Бахтин перемогался, не шел в санчасть. Хотел в смутные времена быть вместе со всеми. Ведь все равно никто не летал — полк из-за больших потерь вывели в резерв. Рация наведения ремонтировалась. Да и фотоаппарат техники устанавливали куда медленнее, чем предполагалось.

Бахтин по заданию Прокопыча провел занятие с младшими специалистами, выпустил стенгазету. Потом написал письма родным летчиков, погибших в последних боях, и конечно — Лиде... Но даже ночью забывался с трудом. Казалось: в шею впился, залез под кожу и там пухнет, раздувается огромный клещ. Подцепить бы его, вырвать оттуда! Товарищи усердно мазали Бахтина йодом. И всякий раз наступало секундное облегчение — пылающий желвак приятно холодило. Однако не только шея — голова болела все сильнее.

На третий день Захар догадался всунуть Леониду под мышку градусник. Ртутный столб подскочил к сорока. И Захар без лишних слов побежал за Прокопычем.

До лазарета, расположенного в конце станицы, лейтенанта везли чуть не полчаса — осторожно! Но как ни старались, главврач встретил воркотней:

— Почему сразу после ранения не пришли? Все вам пустяки, пустяки... И чего, спрашивается, дожидались? Еще хорошо, что организм от вашего бескультурья щитом флегмоны прикрылся. А если бы сепсис? На тот свет захотели, молодой человек?

И видимо, поймав себя на штатском обращении, пожилой гражданский доктор, недавно призванный в армию, попытался напустить строгости:

— В следующий раз взыскание получите! А сейчас... На стол, на стол кладите, молодые люди!

Невольно ощутив успокоенность, Леонид мысленно усмехнулся: «Ну, пристроился и рад, что все само собой пошло, что солдату так просто живется. Значит, приятно уступать другим бремя ответственности?.. Даже если при этом решается твоя собственная судьба?.. Парадоксально!»

Между тем его перевернули ничком — лбом на подушку, подложили под горло серповидную ванночку. Сестра сделала обезболивающий укол в шею. И вот уже практикант взялся за скальпель.

Странно — Бахтин ничего неприятного не ощутил, боль прошла, но вместе с тем какое-то неопределенное беспокойство постепенно им овладело. Словно неуверенность оперирующего передавалась пациенту. Хотя он не видел лица будущего хирурга, только чувствовал на себе его руки. А они волновались, дрожали. Практикант неуклюже копошился, работал медленно, неумело. «Боится что-нибудь задеть, перерезать», — думал Леонид. Осторожничанье угнетало. Чтобы отвлечься, принялся считать капли (собственной крови?) — они постукивали время от времени по дну ванночки.

Главный врач вдруг отстранил практиканта. Резкими, четкими ударами что-то рассек. Прикосновение твердых рук опытного хирурга сразу успокоило. Им хотелось довериться. В серповидный тазик хлынула струя. Бахтин не встревожился. Наоборот, испытал мгновенную освобожденность. Сообразил: «Гной вышел!» Удивился, что так много успело скопиться. Но тут кончилось обезболивание. Шею насквозь пронзило огнем, пламя растекалось по затылку... Леонид вцепился зубами в подушку. Мелькнуло: «Лишь бы не за-

стонать». А главврач продолжал работать — быстро, ловко. «Ну, еще немного, ну, держись, всему конец бывает», — подбадривал себя лейтенант. Действительно, боль внезапно стихла. Главврач кинул сестре:

— Бинтуйте!

И протянул лейтенанту зажатый в пинцете крохотный осколок — на память! Сказал шутливым «докторским» тоном:

— А вам и покричать можно было, молодой человек. Тогда терпеть легче. Здесь ведь не война — медицина за геройство орденом не пожалует.

Бахтин проснулся. Солнце заливало комнату. По белой стенке лазаретной хаты плавали веселые — из детства — радужные тени. И в груди ширилась, росла беспричинная радость.

Дверь приоткрылась.

— К вам пришли! — сказала сестра.

Тотчас из-за ее спины выдвинулся Захар. Широко улыбаясь, пожал Леониду руку. И, ощущая обычную неловкость здорового перед больным, заговорил преувеличенно бодрым голосом:

— Ну, сэр, особо-то не журитесь! Все равно нас еще из резерва не вывели, по-прежнему лодыря корчим. Летают одни новички — пополнение пришло. Майор с комэсками их жучит. А машины дали — барахло, из Армавирской и Ейской школ подмели последнее старье...

Рулев увлекся, уже не чувствовал себя неловко. Рассказывал о разных происшествиях при вводе в строй молодых пилотов. Потом неожиданно перескочил на новую тему:

— Да! Ты знаешь, какой номер моя Галина учу-

дила! Недавно среди бела дня примчалась на аэродром. Дежурный технарь ее, конечно, не пускает. А она ему: «Там мой погиб!» И оттолкнула — прорвалась! Технарь за ней. Да разве догонишь! Похлеще истребителя скорость развила. Так они друг за дружкой и налетели вместе на Прокопыча. Галина комиссару на шею и в рев — спасите, помогите! Технарь рядом стоит, глазами хлопает — вроде еще и виноват. Прокопыч на него набросился: за что девчонку обидел? Ну, пока разобрались... Прокопыч ей: «Жив твой Рулев, сейчас прилетит». А она ни в какую: «Уйду, когда своими глазами увижу». Он ей: «Да с чего ты взяла?» Она: «Мне бабы сказали». Он сердится: «Врут они — откуда им знать?» А она серьезно так: «Бабы все знают, что на аэродроме ни приключится». Прокопыч вовсе рассвирепел, на дежурного накинулся: «А почему знают? Через трепотню вашу чертову! Вот не пущу больше никого на пятачок — не будут знать!» К счастью, я тут на посадку пошел — Прокопыч увидел, кинул дежурному: «Ну, давай, встречай, да сюда его повороти! ..»

— Постой! Постой! Полк в резерве, а ты с задания?

— То так... Один раз пришлось... на разведку...

— Захар, не бреши!

— Вот честное пионерское, сэр! Да не перебивай! Сейчас доскажу.

— А кто погиб?

— Никто. Прокопыч потом рассказывал, как в момент моей посадки Галина из-под руки смотрела, чтоб солнце не мешало. Видно, еще не верила. Другой-то рукой комиссара за рукав держала — отпустить боялась. А я развернулся, порулил и дивлюсь: за что мне такая честь? Технарь бежит, машет. Прокопыч встречает, да на нем еще висит кто-то! Ну, когда узнал Галку — довернул к ним. Не пойму, что и думать. Остано-

вил машину, вылез... Тут уж Галина Прокопыча оставила — ко мне бросилась. Обняла, целует, и смеется, и плачет — нисколько не стесняется. Я ее, конечно, шуганул...

— Как это — шуганул?

— Очень просто. Снял с себя, на землю поставил. Чтоб очухалась немного. И вполне спокойно сказал: «Ну, домой сейчас же! А сюда — больше и не думай!»

— Послушалась?

— Еще бы нет! Улыбнулась, да и ходу. Только юбка, что флаг, заполоскалась. Тогда глянул я в глаза Прокопычу, думаю: «Теперь проборку даст». А он посмеивается. Говорит: «Вот, то добра жинка будет».

— Наверно, прав комиссар.

— Погоди, не все. Технари рассказывали, как она мимо них промчалась: хохочет на бегу — сумасшедшая! Мой техник и крикни ей: «Рулев не женится, зря бегаешь!» А она ему: «Еще как женится». Он насмехается: «Уж не ты ли женишь?» Она не уступает: «А хоть бы и я!» Он уже вдогонку кричит: «Многие пробовали — не вышло!» Все-таки последнее слово за ней осталось. Убегая, шумнула: «Не бойсь, у меня выйдет!»

Захар усмехнулся как-то неопределенно. И сразу же, словно заспорил с этой своей ухмылкой, заговорил быстро, горячо:

— Нет, верно, ты давно Галку не видел — теперь не узнаешь. Вот вчера иду к ней берегом Чубурки. И замечаю: на другой стороне в колхозном стаде возня какая-то. Издали не пойму, в чем дело. А ближе подошел — вижу: туда на полном газу летит моя Галина. За ней еще с десяток девчат поспевает. Уже по лавам бегут — аж доски гнутся. Крик подняли... Оказалось, действительно беда. Одна разиня коров поить

гоняла, да в илу троих завязила! Я из-за кустов с обрыва наблюдаю: Галка к той недотепе подскочила. «Ну, — думаю, — сейчас ей врежет». Но нет. Встала перед раззявой и скорей руки за спину. Видно, чешутся, а все же воли себе не дает. Даже словом худым не обмолвилась. Взялись они с девчатами за веревки — коровам на рога набрасывать. Тут уж стыдно мне стало прятаться — вылез, сделал им заправскую петлю скользящую. Ну, общими силами вытащили. Потом я Галку за выдержку похвалил. Видел бы ты, как она вспыхнула!

— Ясно: сказывается благородное влияние лейтенанта Рулева.

— А может, Бахтина?

— Еще чего!

— Конечно, сэр, ваша культурность озаряет мощным светом всех, с кем вы общаетесь.

— Захар, не трепись!

— Эх, сэр, если б это трепотня была! А то вон Галка все уши прожужжала: «Леонид и образованный, и хороший — на пятачок не ходит, по мужним вдовам не шастает — настояще жену любит». Только и держусь древними мудрецами: мол, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Так что учти: мой авторитет тобой подпирается...

Тут Захара неожиданно прервали: сестра заглянула в дверь и, заметив строго: «Раненому пора на перевязку», — увела Леонида.

А через неделю лейтенант Бахтин, вернувшись в часть, удивил комиссара: попросился на весь день в лесничество.

— Да чего ты там не видал? — старался понять Прокопыч.

— Лес.

— На что он тебе?

— Соскучился.

Наконец Прокопыча осенило. Он улыбнулся добродушно.

— Ну, ладно, погуляй. Вон Рулев твой по целым дням пропадает. И ты чуток дух переведешь после болезни. Только помни — у тебя жена, дети...

Теперь Леониду пришла очередь удивляться:

— Они-то тут причем?

— «Причем, причем»! Сам небось грамотный! — рассердился Прокопыч.

С высоты казалось: зеленый островок среди желтой выжженной июльским солнцем степи лежит недалеко от аэродрома. Но Леонид уже второй час топал грейдером, а перед ним все еще одно пшеничное море простиралось, притихшее от жары. И лейтенант затеял игру: закрывал на минуту глаза — вслепую шел по прямому, ровному, словно асфальт, накату. Тогда, вместо бесконечных однообразных полей, по обеим сторонам дороги вставали пронизанные светом просторные сосновые боры, и нога скользила по опавшей хвое, будто на паркете, и запах смолы и багульника щекотал ноздри. А то вблизи возникали веселые березовые рощи с прохладной и мягкой, струящейся между пальцами шелковисто-зеленой травой-муравой. Или же он вступал под мрачные своды ельников-зеленомошников, где нога утопала в пружинящем, вязком мху и отовсюду веяло сырой папоротниковой горечью.

Да, Леонид спешил к лесничеству, словно на свидание с Лидой.

Вот наконец свернул тропой, проложенной в кукурузной чаще. И сразу окунулся в тяжкую сухую духоту. Плотной щеткой султанов высоко над головой покачивались макушки. Рядом шелестели хрусткие листья. Тугие початки терлись друг о друга, поскрипывали. Толстые суставчатые стебли под их тяжестью клонились, задевали Бахтина за плечи...

Но внезапно тихо шепчущие заросли расступились — он вышел на лесную опушку. Только — какой же это был лес! Невысокие дубы, клены и ясени выстроились редкими рядами. Кое-где торчали кустики лещины, бересклета, боярышника... Леонид долго бродил по насквозь просвеченным перелескам и не мог найти ни прохлады, ни тени. Шуршала ломкая, рано пожухлая трава, цеплялись за брезентовые сапоги колючки... Изредка встречались дикие яблоньки, алыча, терн. Ни под ними, ни даже под раскидистой татарской жимолостью не хотелось прилечь, отдохнуть. Везде, среди сухих злаковых пучков, проступала комкастая пепельно-серая земля. Повернув, Леонид через полчаса выбрался к речке. Но топкие, илистые берега, заводи, сплошь заросшие кувшинками и телорезом... Нет, купаться здесь не хотелось. Он представлял себе, как, увязая выше щиколотки, будет продираться между мясистыми, шипастыми веерными листьями, как его опутают резиновые плети водяных лилий... Все-таки разделся, полез по склонившейся над рекой старой иве.

С нее дотянулся, поплескал на грудь, освежил лицо, поболтал ногами в воде. Потом улегся навзничь вдоль ствола... Ну, отпраздновал годовщину!

Да, в этот день, три года назад, не пошел он после ночных полетов вместе со всеми завтракать. Спрятался под кустами на берегу Клязьмы у края аэродрома. Тогда, подобно многим в юности, еще мнил себя непризнанным поэтом. И вот хотел, ни минуты не медля, занести в заветную записную книжку строчки, поддразнившие было в полете. Нет, стихи свои никому не собирался читать, разве что далеких потомков рассчитывал порадовать. Два часа писал, черкал... А слова бунтовались, ломали ритм, не укладывались в размер. Он тихонько напевал уже сложившиеся строфы, стараясь и в новых сохранить мелодию. Наконец обругал себя бездарью, тупицей. И перевернулся на спину. По ярко-голубому небу плыли белоснежные клочки приподнятого тумана. Роса сходила, все цветы среднерусского пойменного луга раскрывались, текли запахи.

Утренняя дрема стала постепенно одолевать Бахтина. Он знал: настоящая — непобедимая — сонливость навалится в два-три часа. Но и сейчас было приятно уступать даже этому слабому подобию забытья. Казалось: он кого-то ждет, что-то радостное и вместе с тем тревожное должно случиться. Однако над его запрокинутым лицом лишь комары кружились и тонко звенели. Он от них лениво отмахивался ивовой веткой. Все-таки еще чего-то ждал? Или просто было хорошо лежать — не хотелось вставать, уходить?.. А комары надоедно жундели над ухом, лезли в глаза, садились на лицо...

Стрекоза налетела внезапно. Сходу схватила, сглотнула одного, другого, третьего... Она поворачивалась чуть ли не на месте — очень круто закладывала свои виражи. Сухо потрескивали прозрачные длинные крылышки, быстро вращалась голова — огромные

глаза-фары. Леонид всматривался, старался понять суть маневра, проследить за изменением угла наклона лопастей. Как она была похожа на Р-1. Только ее боевые развороты были глубже, изящней, а все эти горки, броски, клевки — каждый раз оказывались стремительно ловки, безупречно точны. Никакому истребителю не удалось бы провести атаку столь молниеносно, не посчастливилось бы так неожиданно прорваться в строй вражеских машин. Комары удирали, кто куда. Леонид приподнялся на локте, чтобы лучше оценить фигуры стрекозиного высшего пилотажа.

И вдруг насторожился: в Клязьме словно большая рыба плеснула! Затем потише, еще раз, еще... Или кто-то плюхнулся с того берега и поплыл? Недоумевая, он вслушивался. Вот ритмичные всплески сменились ровным журчанием, донесся легкий перестук стекающих с тела капель... Человек, а может и лось, выходил из воды. Осторожно Леонид разнял ветви, заслонявшие речной плес. И тотчас вскочил, бросился вперед. Течение сносило перевернутую вверх дном лодку, бамбуковые удочки, соломенную шляпу... А тоненькая смуглая девушка стояла на берегу, отжимая воду с волос, выкручивая подол платья. Оказалось: она живет в соседней деревне — на даче. А перед кораблекрушением занималась «научной» ловлей рыбы. Особенно огорчило ее исчезновение кукана с каким-то «чрезвычайно интересным экземпляром». Гораздо легче она перенесла потерю туфель — сколько Леонид ни нырял, так и не нашел их — должно быть, отнесло сильными придонными струями в сторону. Зато он сумел подтащить лодку к песчаной косе, спас шляпу и удочки... А Лида посмеивалась над его стараниями. Вскоре выяснилось: она убеждена, что профессиональными военными становятся только неспособные, лоды-

ри, в лучшем случае — неудачники. И сначала упрямо иронизировала над летной романтикой. Так они познакомились. Потом... Все изменилось...

Вот он прилетел неожиданно с маневров — поручили подбросить на центральный аэродром комбрига-посредника. В квартиру вошел почти бесшумно. И сразу — на кухню. Сообразил: в это время Витька — тогда еще грудной — должен спать, а Лида — готовить ему очередную кашку (беднягу кормили строго по часам). Верно: Лида была на кухне. И, увидев Леонида, не издала ни звука, только повисла на шее, побрыкала ногами в воздухе... Потом они сидели друг против друга на табуретках, что-то жевали, о чем-то шептались и... непрерывно прыскали. Лида прикладывала палец к губам, а сама не могла удержаться — беззвучно фыркала и заражала его, и он старался утерпеть, не грохотнуть, и смеялся еле слышно. Однако для страховки Лида все же умудрялась запихнуть ему в рот чуть не целый пирожок, и тут уж оба покатывались втихомолку, держась за животы и раскачиваясь на табуретках. Хотя ни о чем особенно смешном не говорили. Хохотали от радости необычной встречи — просто от удовольствия видеть друг друга...

Или вот совсем иное... Он тогда уже учился в академии. А Лиду все не оставляла какая-то смутная тревога. В мире было так неспокойно... Лида часто говорила: «Мне хочется спрятаться, ничего не слышать... чтобы только ты и Витька...» По вечерам, перед самым сном, она просила: «Почитай Блока!» И шепотом (конечно, Витька уже спал) Леонид декламировал «Возмездие» и «Кармен», «Соловьиный сад» и «Родину»... Тогда казалось: все это про них, про то, чем они полны... И Лида успокаивалась. Неясными, непонятно крепкими нитями стихи связывали их. Уже

не узнавание, всегда трепетное, а спокойная уверенность — ясное ощущение общности, полнейшей неотделимости друг от друга — владела обоими...

Быстро пролетели три года!

А всего пять месяцев назад слушатель второго курса, без конца надоедавший начальнику факультета просьбами об отправке на фронт, получил наконец назначение в Действующую! Лида, хотя заранее соглашалась, тут обо всем забыла. Только повторяла сквозь слезы: «Не уезжай, не уезжай! Я не смогу без тебя, одна я не захочу жить...» Никаких утешений не принимала. Он говорил, что подросшему Витьке не знал бы как в глаза глядеть, когда бы сын понял: отец — кадровый военный летчик — всю войну проучился! Нет, Лиду такие доводы не убеждали. Мимо нее шли слова о долге, о возможности скорого окончания войны... Ведь другие выполняли свой долг, продолжая учиться в академии... Так они с Лидой расставались.

И вот теперь она одна с двумя малышами... И посылку не пошлешь, и сюда жену не вызовешь... Ну, думай не думай...

Бахтин вскочил, поспешно натянул сапоги. Назад шел быстро, размашисто. По-прежнему тихо колыхалось вокруг желтое море спелых хлебов. Но он все ускорял шаг. Казалось: без компаса, без радио летит вслед за ускользающей, вечно бегущей впереди обманчивой границей неба и степи — вдогонку за несуществующей, недостижимой, а вместе с тем такой реальной линией раздела — чертой горизонта. С первой до последней минуты летной жизни ведет она за собой пилота. Маячит на всех перекрестках воздушных дорог. И даже скрываясь иногда в тумане, в облаках или

дымке, все-таки угадывается опытным глазом, всеми шестью чувствами летчика.

Вечерело, жара спадала. Он подходил к станице. С приречных лугов на ночлег, важно переваливаясь, неторопливо тянулись белые косяки гусей и уток. По пыльным станичным улочкам мирно копошились куры и, похрюкивая, бродили пестрые свиньи в треугольных хомутах из палок. За невысокими плетнями стеной стояла зеленая вечерняя прохлада садов. Тишина, покой... Словно войны и не было и нет. Добродушно перекликались хозяйки: «Марья, когда крынку вернешь?» — «Погодь, скоро занесу!» Зенитки не стреляют, мессера не пикируют. Он в резерве! Вот и понесло годовщину справлять. Нет, ни привыкнуть, ни забыть нельзя: война.

Леонид подходил к аэродрому. Вдруг увидел: навстречу бежит Блондин!

— Эй, сэр! Чеши скорей к майору! Тебе завтра первому вылетать! — издали крикнул Захар.

И снова лейтенант Бахтин выскакивал над целью в самый неожиданный для немецких зенитчиков момент. Снова шел, как на параде: руки по швам, вдоль прямой фотографирования, выдерживая скорость, высоту, направление и... характер. Но всего через пять дней его полеты на разведку прекратились...

5

Медленно выбирался Бахтин из штабной землянки. Поднимал на ступеньки левую ногу обеими руками, всякий раз описывая правильные полукруги. «Словно на доске — циркулем», — посмеивался он про себя. Однако по летному полю зашагал ровнее — туго

забинтованное колено почти не болело. Но темнота после яркого света лампы-молнии казалась очень густой. Чтобы не оступиться, он смотрел под ноги — чуть не наткнулся на Захара. Тот подхватил друга под руку, затянул шутливо-соболезнующе:

— Ежели вы, сэр, будете один по ночам шастать, то задетую глистом подпорку окончательно доломаете. Или надеетесь на ликование сестер в лазарете?

— Увы, я не такой тонкий знаток женских душ, как вы.

— Зато — покоритель мужских. Полковой инженер заявил, что на ваших вчерашних дырках мог прилететь лишь великий боевой дух! А мои гаврики до сих пор не опомнятся от темпа, в котором вы у них под носом сбили этого глиста-царапку. И в самых изысканных выражениях просят еще раз засвидетельствовать вам свое почтение...

— Может быть, хватит трепа?

— Тогда выкладывай, что Старик решил. Тебя, конечно, до поправки опять на рацию. А кого в разведку?

— Сам, поочередно с Константиновым.

— Из них тé разведчики — обязательно в драку ввяжутся. Ты меня предлагал?

— Даже настаивал. Нет, ни в какую. Стариковское, мол, дело бреющим на пузе ползать, по балочкам да по кустикам ховаться.

— Станет он ховаться... А верно, что Ростов сдали?

— Верно.

— Может, на Дону остановят?..

Друзья ненадолго примолкли. Вдруг Захар спросил совсем тихо:

— Посоветуй, как с будущей тещей сладить. Говорю: надо Галину эвакуировать! Куда там! Крик, сле-

зы... Нельзя, видишь ли, дом бросить, курей, гусей, поросей.... И Галку сбивает.

— А ты уверен, что ей необходимо ехать?

— Да как тебе сказать... Сложно у нас получилось. Ну, она не сразу призналась... Ребенка ждет! Теперь уж поздно. И матери не говорит...

— Распишись — скажет.

— Нет. Галка мамаши боится. Та ее давно за другого сватает. Ходит к ним один — блаженный, лет пятидесяти. А меня мать не любит.

— Скажи ей, что Галя беременна, — живо полюбит.

— Галка стесняется — позор вроде.

— Да ты-то ее любишь, или так — из жалости?

Захар замолчал, надулся. Однако, подходя к землянке, все же бросил:

— Может, сына родит...

Леонид сказал мягко:

— Если хочешь, помогу убедить Галю. Вам надо завтра же пойти в загс и через военкомат все оформить. Как жену офицера ее должны быстро эвакуировать...

Опять Захар ничего не ответил. Ловко сбежал по ступенькам. Подержал открытой дверь в землянку, пока друг спускался — посветил. Но Леонид так и не понял, принят ли его совет.

Бахтину не очень-то удобно было наблюдать за воздухом, сидя на табуретке в окопчике НП. Приходилось сильно задирать голову, побаливала не совсем еще зажившая шея. Но доктор, отпуская лейтенанта с перевязки, сказал сердито:

— Если разбередите рану, цепями прикую к койке.

Или в тыловой госпиталь сошлю. И майор не поможет. У вас связки коленного сустава задеты, молодой человек. С этим не шутят.

А нога, действительно, сгибалась неважно, быстро уставала. И все-таки, глядя, как в небе наплывают с запада грязно-белые слоистые облака, Леонид едва заметно улыбался. Они несли с собой прохладу, спасенье от беспощадного степного солнца, даже, возможно, дождь к концу дня. Однако не это было главным, не предстоящая перемена погоды радовала. Новая тактическая идея пришла вместе с тучами! Теперь Бахтин гордо взирал на ястребков, вальсирующих под самой кромкой облачности. Недаром посоветовал туда забраться. Будто броней прикрыты непроглядными серыми пластами наши истребители. Мессеры не могут напасть на них сверху. В лобовую пойти тоже не решатся. А снизу... Преимущество в высоте позволит ястребкам спикировать навстречу — уравняет их скорость с мессерами.

И самое главное — наши летчики всегда успеют отразить музыкантов, если те вздумают бомбить красноармейцев, закрепившихся по левому берегу Дона. Свалятся из-под облачного щита на лапотников, словно ястреба на уток, — в любой момент оградят войска от ударов с воздуха. Да, Леонид впервые любовался «однообразной и безумной» каруселью оборонительного круга.

Слабое потрескивание послышалось в наушниках. И тотчас заглушилось недовольным баском Захара. Горючего еле-еле хватит до аэродрома дотянуть. Он больше не может ждать смены. Истратил уже половину гарантийного запаса. А ребятки неопытны — еще рассядутся по степи, собирай их тогда!

Бахтин в душе соглашался с другом. Действитель-

но, при чем тут Рулев, если комиссар не высылает очередную шестерку? И ведь Прокопыч знает: майор Чихачев и капитан Константинов как раз в момент смены групп должны возвращаться из разведки через зону патрулирования. Здесь легче отсечь от разведчиков хвост мессеров. Но знать знает, а график почему-то не выдерживает? И майор с капитаном не отзываются...

Леонид в который уж раз позвал командира полка. Неожиданно Старик откликнулся. Будто и не пропадал, спокойно спросил:

— Подскажи-ка, сынок, где конец этой чертовой хмаре? Не врежу с ходу в землю?

— Высота нижнего края — тысяча триста.

— Спасибо, а то в районе разведки мура по крышам ползет. Ну, покуда пробью, слушай, что скажу. Одного глиста свалил, но Костю... сбили гады. Передай Прокопычу: действовать по сигналу «Гроза». И сам свертывай хозяйство. Фрицы переправу наладили, к Ольгинской танки жмут — могут отрезать. Понял? Отвечай, пока моя пищалка работает.

Еще не договорив, майор выскочил под облака над самой станцией. Бахтин подтвердил, дал Старику курс на аэродром, быстро сообщил в полк приказ майора. И уже хотел отпустить группу Блондина. Как вдруг увидел: из дырявых облачных мешков один за другим — вот уже пять, семь, одиннадцать! — вываливаются мессеры. Подумал: «Эх, Старик, притащил все-таки за собой хвост. Потому что драться полез. Меня учил, а сам...» Почти одновременно мелькнуло: «От Ольгинской танкам сюда ходу полчаса. Только войска не предупредить — ни волн, ни позывных не имею». В ту же секунду заметил: ишачок майора скользнул в сторону. Леонид понадеялся: «Уйдет! До земли спики-

рует. Там по данному курсу — бреющим...» И крикнул в микрофон:

— Блондин! Отшей мессеров от разведчика!

Три наших истребителя плюнули вслед немцам пулеметными очередями. Однако снизу вывернулась парочка расторопных черно-желтых ос, прижала майора к серому потолку туч. Над станцией наведения закрутились два смерча: побольше — у оборонительного круга, поменьше — подле разведчика.

Бахтин понимал: ишачкам выгоднее вести бой под самым облачным сводом — в горизонтальной плоскости. Там им легче зайти в хвост противнику — у них радиус разворота меньше, чем у мессеров. И он непрерывно предупреждал, советовал. То один, то другой ишачок скрывался за щитом туч, выныривая всякий раз ближе к дому. Весь клубок воздушного боя смещался в сторону аэродрома. Только в оставшиеся семь-восемь минут все равно туда не добраться...

Внезапно ишачок с номером двенадцать выскочил из серой облачной ваты, сильно накренясь. Должно быть, вне видимости горизонта летчик не сдержал машину по приборам. И как раз в этот момент под ним промчался мессершмитт. Нижнее крыло ишачка сходу стукнуло месса по кабине. Ишачок подскочил, словно мяч, и на мгновение завис у потолка. Тотчас в самолетном вихре образовалась дыра, провал. Из нее стал падать протараненный мессершмитт, вращаясь и разматывая за собой темный кушак дыма. А все остальные веером брызнули по гладкому плесу туч, точно мальки на мелководье.

Пользуясь секундным замешательством врагов, Захар рванулся на помощь майору, позвал по радио:

— Ребятки! За мной!

Однако вслед метнулось только четверо. Ишачок,

таранивший мессера, лишь дернулся к друзьям. Он еще боролся, не хотелось ему грохаться о землю. Но вот опустил нос, бессильно сник...

Бахтин заорал:

— Дюжина! Прыгай затяжным! Если сразу раскроешь — расстреляют при спуске. Как приземлишься — беги к моему кургану.

От машины номер двенадцать, сделавшей кульбит через сломанное крыло, отделился темный комочек, пошел отвесно вниз. Леонид стрельнул глазами в ту сторону, где осы пытались зажать майора в клещи. Но Захар уже сближался — отсекал нижнюю осу. И Бахтин вновь вернулся к пилоту дюжины. Тот далеко опередил своего кувыркающегося ишачка, стремительно несся к земле, хотя никто его не преследовал. «Неужели не видит, что мало осталось? Нет, дернул!» — черная фигурка махнула белым платочком раскрывающегося парашюта. Опять Леонид вонзился взглядом в исчерченный самолетами участок неба. Мессеры опомнились, помчались вдогон ястребкам. Конечно, Бахтин предупредил своих. Двум задним пришлось заложить крутые виражи — развернуться навстречу врагу. В наушниках Леонида просыпался горох стрельбы. Один мессер нырнул в облака. Другие пронеслись мимо. Завершив виражи под прикрытием пласта тяжелых туч, ишачки оказались у них в хвосте. Хотя здорово отстали. Но, понятно, снова ринулись за командиром. А Блондин?

Захар по-прежнему мчался впереди группы. Он больше не вспоминал о почти до дна израсходованном бензобаке. Целиком слился со своим ишачком, ощущая его как прямое продолжение собственных рук,

ног... Еще прибавил газу. Наконец потянулся остриями пулеметных очередей к шедшей наперерез майору осе. И тут же отпустил гашетки: вдоль капота и кабины мессершмитта легла неглубокая борозда. Вот уже она развалила надвое обшивку. Раздутая встречным потоком, мгновенно вспухла тонкая осиная талия. А сама оса, покачиваясь с крыла на крыло, свободно вывесилась — как бы замерла в воздухе. Чтобы не натолкнуться, Захар даже отвернул в сторону. И, уже отваливая, приметил: из-под капота немецкой машины вырвалось оранжевое пламя, она нелепо клюнула носом, повалилась... «Сбил, сбил!» — ярко вспыхнула радость.

Проносясь дальше, лейтенант Рулев уследил краешком глаза, что майор разминулся со второй осой и круто спикировал к земле. Мелькнуло: «Свяжу — разведчик уйдет!» Захар направил ишачка в лоб вражеской машине, развернувшейся было за майором. Однако немец вроде не испугался тарана — уверенно принял лобовую. Это насторожило. В то же мгновение в наушниках загремел Леонид:

— Блондин! Скользни!

Захар с привычно-молниеносным автоматизмом положил самолет на крыло, резко сунул ногу... Встречного месса закрыло мотором ишачка. А из-за спины прошмыгнул вперед другой, тот, о котором так вовремя предупредил Леонид. «Промазал, чертов глист!» — злорадно возникло в мозгу, и, скосив взгляд, Блондин увидел: глубоко под ним майор нырнул в балочку. Опять сознание радостно отметило: «Ну, Старик, кажется, вырвался!»

Между тем Захар не забывал крутить башкой: влево, вверх, назад, вправо... Еще два месса на него нацелились. Подумал: «Эх, надо было к облакам при-

жиматься, не скользить...» Дал газ до защелки, кинул ишачка в боевой разворот. Надеялся увернуться от атаки за счет глубины крена, да еще и выйти с набором высоты. Но самолет не встал на ребро — лишь лениво перевалился с боку на бок. И мотор не рявкнул, не рванул за собой машину — остался безучастным. А перед глазами летчика возник предательский вихрь — обнаружилось незаметное обычно вращение винта! Блестящий круг, ометаемый лопастями, становился все виднее... В нем мелькнула размытая тень... Еще раз — уже более четко, еще... и палка встала. Кончилось горючее или мотор все-таки повредили? Молчание обступило лейтенанта. Только откуда-то издалека прорвался, как всегда в трудную минуту подчеркнуто спокойный, голос друга:

— Блондин! Месс в хвосте!

И снова Захар скользнул. Подумал было: «Без мотора больше ничего не остается — лишь увиливать!!» Но тут же взбунтовался. Ребятки еще дерутся — он отвлечет на себя хотя бы часть глистов. И принялся бросать машину из стороны в сторону. При этом даже огрызался — короткими очередями бил по проскакивающим мимо мессерам.

— Блондин! Прыгай затяжным! — надрывался Леонид.

Нет, Захар не имел времени на ответ. Он рассчитывал выскочить перед самой землей методом срыва: встать на сиденье и дернуть за кольцо — распустить парашют еще в кабине. Тогда встречный поток вырвет его, подбросит вверх, отделит от ишачка, идущего на смерть. И в воздухе лейтенант Рулев провисит считанные секунды — глисты не смогут, не успеют расстрелять парашютиста. А до тех пор он еще поиграет с ними в жмурки...

Молотками простучали по бронеспинке чужие снаряды, чужая машина промчалась совсем рядом, мелькнуло чужое, торжествующее лицо немецкого летчика... Ишачок вздрогнул и словно бы застонал от снарядного бича. А все тело лейтенанта внезапно налилось странной вялостью. И, кажется, стало жаль, что так рано он выходит из игры...

Затем сразу же другое, очень властное чувство целиком захватило Захара. Впервые Рулев ощутил боль, гораздо более сильную, чем он сам. Она опережала, перебарывала его — всегдашнего победителя. И удивленное сожаление перед одолевающей силой боли, а вместе с тем перед собственной слабостью, ошеломило Захара.

Вдруг почудилось: он не погибнет, если сумеет превозмочь этот неожиданный недуг. Что-то намертво стиснуло грудь, почти остановило дыхание... Все-таки он зацепил немеющим пальцем скобу — отстегнул ремни. Мысленно подбодрил себя: «Ну же, ну!» И, выдираясь из своей беды, натужно передохнув, приподнялся на руках, потянулся вверх... А валясь назад, на сиденье, снова испытал глухое недоумение — слишком необычна была дряблость его крепких мускулов. И опять почувствовал ранее неизвестную снисходительную жалость к самому себе. И понял, что не сумеет выкинуться, что даже не сможет выдернуть за кольцо вытяжной тросик парашюта, что не вырваться ему из кабины.

Лишь тогда, выплескивая кровь пробитыми легкими, попытался крикнуть: «Прощай, друг!» Но горло вместо слов исторгало бульканье, хрип... И горькое сожаление о нелепости случая, изумление перед побеждающей болью — таким пустяком, который он всегда презирал, — пересилили Захара.

Хотя все еще казалось невероятным, что он не может вытерпеть свое страдание, что должен поэтому погибнуть. Вот обняли его нежные руки... И Галка — порывистая, горячая — прижалась к нему всем телом... Он замер: неужели их сын, неродившийся, так и не узнает отца, никогда не увидит...

Снова Захар дернулся из кабины. И сразу же обвис — камень под лопатками распирал мускулы, натягивал, рвал нервы. Он рос, превращался из булыжника в глыбу, в скалу... Весь сжавшись, Захар опять уступил яростному натиску боли. А Леонид в наушниках продолжал настаивать:

— Блондин! Прыгай же, прыгай!

Однако слова теперь не имели для Захара никакого значения. Все остатки сил он сосредоточил на том, чтобы не пошевельнуться, не вызвать этим новой уступки собственной слабости. И держался вопреки всему, пока впереди не вспыхнул клубящийся шар, пока яркий свет не ударил по глазам, как внезапный взрыв.

А Леонид все твердил:

— Прыгай, Блондин! Прыгай!

Огненный столб мгновенно вырос и, словно обелиск, встал над местом падения. Леонид отвернулся. Да, он до последней секунды надеялся... Взглянул на часы. Показалось: стрелки не сдвинулись! Забыл завести — остановились? Нет, просто еще по-летному мерил непостижимую для людей земли быстротечность воздушного боя.

«Ну, прощай, Захар!» — Леонид прикрыл глаза.

6

Лейтенант Бахтин заставил себя включиться в помощь тем, чьи последние минуты еще не истекли. Опять предупреждал, подсказывал... Хотя воодушевление в нем погасло, надежда надорвалась. И, конечно, чуда не произошло. Сначала из одного ишачка вырвалось яростное пламя. Самолет замахал крыльями, точно ветряная мельница, и, завивая жгутом длинные полотнища огня, штопорнул вниз. Леонид кричал в микрофон до хрипоты, но мессы сбили второго... Потом, почти одновременно, остановились винты у двух последних ишачков. Благодаря затяжке прыжка одному пилоту удалось спастись. Другого расстреляли раньше, чем он успел выбраться из кабины. Только тогда мессеры ушли на запад.

Открытым текстом Бахтин передал в полк сообщение о двух сбитых самолетах противника и о прекращении связи. Под занавес глухо сказал: «Ястребков — не ждите», а про гибель Блондина — лишь намекнул. Ведь нельзя о потерях...

Радисты быстро свернули рацию. Еще раньше сержант с дюжины добрался до кургана, даже парашют притащил. Второго, приземлившегося неподалеку, захватили на машину попутно. Леонид колебался: хотелось подъехать к догорающим останкам семерки. Но ишачок Рулева упал в двух-трех километрах. И лейтенант Бахтин сейчас не в самолете находился — не за себя одного отвечал. Танки могли подойти...

Неожиданный артиллерийский налет положил конец сомнениям. Орудия били не то из Нижне-Гниловской — дальнобойные, не то из Койсуга — дивизионки. Но тогда, значит, немецкая пехота тоже переправилась через Дон?..

Рация выползла на грейдер, под огнем благополучно миновала железнодорожный переезд — вышла из зоны обстрела. Леонид остановил машину на пригорке. Отойдя в сторону, обвел окулярами бинокля всю панораму. Как на кассету, снял мгновенной памятью: горящий в нескольких местах Батайск; поезд, вытягивающийся со станции среди разрывов; немецкие танки на шоссе от Ольгинской; орудия, стреляющие по ним с окраины аэродромного поселка; вереницы женщин, уходящих из города в степь с небольшими узелками, с детьми на руках... Тоскливо подумалось: «Надеются пересидеть где-нибудь в балочке артналет, уличные бои, первые, наиболее страшные часы оккупации. А завтра в сводках среди населенных пунктов, оставленных нашими войсками, радио назовет Батайск... Но про Рулева, Константинова... там ничего не будет. Конечно, погибли смертью храбрых, в боях за родину. Конечно, я напишу письма родным, батьке Захара... Эх, Блондин, Блондин!..»

Леонид опять пристально вгляделся. Вынул из планшета карту, красным крестиком отметил последнее приземление друга — будто памятник поставил. И слегка припадая на раненую ногу, пошел к машине... Рация тронулась и запылила по грейдеру, все убыстряя ход.

Бахтин незаметно задремал. А проснулся с ощущением: что-то переменилось. Машина стояла около штабной землянки на аэродроме.

— Приехали, товарищ лейтенант! — сказал шофер.

Леонид поднял голову. С трудом сбрасывая сонную одурь, удивленно вгляделся. В капонирах не вид-

но было самолетов, на летном поле зияли черные бархатные воронки... И ни души кругом — пусто, тихо.

Хлопнула дверь, по ступенькам кто-то поднимался. Бахтин вышел из машины, прихрамывая, сделал несколько шагов.

— Товарищ лейтенант! Вам пакет!

Перед ним вытянулся техник семерки Рулева. «Знает!» — по глазам определил Леонид и молча сломал сургучные печати.

Приказом командира полка лейтенант Бахтин назначался старшим команды. Ему предписывалось следовать через Армавир в Грозный. Там у коменданта он получит более точные сведения о дислокации своей части.

В пакет были предусмотрительно вложены путевые карты, документы на все виды довольствия. Майор доверил лейтенанту самому проставить число людей, следующих с ним в машине.

Техник между тем рассказывал, как немцы бомбили аэродром. Лапотники один за другим вывалились из облаков, а мессеры по головам ходили — штурмовали. Наши никто и взлететь не успел. «Вот почему Прокопыч не выслал смену Захару», — догадался Леонид. И, услышав, что майор в это время сел в поле с пустыми баками — не дотянул двух километров до «дома», механически отметил: «Ну и хорошо — не то сбили бы на посадке». Спросил:

— А моего ишачка отремонтировали?

Оказалось, на нем улетел в Армавир один из «безлошадных» молодых летчиков. «Повезло парню!» — так же непроизвольно записало сознание.

«А Галя! Будет думать, что Захар ее бросил?» — вдруг содрогнулся Леонид. Но сразу же сообразил: жители станицы, конечно, заметили эвакуацию аэро-

дрома. И, наверное, Галя уже успела побывать здесь — узнала, что Захар погиб...

Ощутил облегчение: не придется самому ей рассказывать. Хотя... от Гали могли и скрыть смерть Захара. Ведь нельзя о потерях... Тогда она думает: «Улетел, оставил на посмешище...» Нет, уж пусть лучше выслушает все про его последний бой. Сохранит в памяти, — он того заслуживает... И потом... Захар хотел, чтобы она уехала...

Леонид представил себе: он увезет Галю, отправит ее к Лиде... У него даже не возникло сомнения: Лида с Галей обязательно поладят. И будущий сын Захара вырастет в их семье. Они с Витькой тоже станут друзьями... Только как разместить в машине беременную женщину с вещами? Да он и права не имеет гражданских лиц возить. Или у отступления свои законы, свое беззаконие?..

Тут Леонид понял: когда Галя все узнает, не сможет о чем-то другом думать, что-то быстро решать. При Захаре не эвакуировалась, а сейчас — от родной матери к незнакомым людям?..

Он вдруг словно увидел их будущую остановку в пути: переполненные войсками хаты, ночевку около машины под открытым небом, налеты немецкой авиации, порхающие повсюду слухи о прорвавшихся фашистских танках... И представил Галю с ее горем среди всего этого.

Снова Леонид одернул себя — вернулся к заботам старшего команды. Заметил: почти все отходящие войска, обозы, стада — двигаются на юг, в сторону Краснодара. И ему, чтобы за Галей заезжать, надо туда же сворачивать — ломать маршрут, указанный майором Чихачевым. Конечно, Леонид понимал: краснодарское направление безопаснее, потому что немецкие танки

от Батайска скорее всего пойдут на Армавир и Грозный — немцам нужна нефть. Но у него приказ командира! Лейтенанта Бахтина, весь экипаж рации ждут Старик и Прокопыч, летчики и техники — жив еще их полк! И до конца войны будет жить.

А Захар? «Вечно живым» останется? Горькое наше бессмертие. Впрочем, разве не все люди — только живут? Не сознают, не помнят своего рождения. Не ощущают, не могут понять смерть, не хотят с ней мириться... Значит, собственным своим естеством, самой природой своей мы приговорены жить, только жить. Не дано нам, к счастью, иного состояния...

Покидая аэродром, Леонид обернулся. Все же долго летал с него. Здесь случай так удачно свел их с Захаром. И вот — навсегда разлучил... Угрюмо лейтенант сказал шоферу:

— Поехали!

Впереди по сизо-лиловому от зноя краю степи растекалась колышущаяся темная пелена. Не то грозовая туча всползала на небо, не то после бомбежки расплывалась завеса дыма. Машина мчалась прямо на нее. И Леониду опять почудилось: он летит в своем ишачке! И, как всегда в полете, ведет его за собой вечно ускользающая, недостижимая, несуществующая и вместе с тем вполне реальная граница неба и земли — черта горизонта.

1963—1964



МИРАЖ

Старший лейтенант Леонид Бахтин возвращался из очередного полета на разведку. Вот уже позади линия фронта... Подумал: «Ну, скоро дома!» И тотчас придирчиво осмотрелся по сторонам, обернулся назад, глянул вверх... Леонид слишком хорошо знал, как легко поддаться успокоенности — задание-то выполнил!

Да, разведчики чаще всего ошибаются после ухода от цели, на обратном маршруте. Когда кажется, что самое трудное — мессеры, вражеские зенитки — позади.

Однако у Леонида постоянная настороженность преспокойно уживалась с невозмутимой уверенностью в собственной неуязвимости. Хотя он и самому себе не смог бы объяснить, откуда она бралась. Просто был твердо и навсегда убежден: «этого» с ним не случится.

И сейчас, подходя к своему аэродрому, Леонид продолжал тщательно осматриваться... И вдруг ах-

нул: почти в лоб его ишачку, только немного ниже, шли как ни в чем не бывало... два мессера. Должно быть, вывернулись с тыла, в обход постов проскочили. Значит, опять «блокировка»? Такая пара мессов, кружась над летным полем, однажды уже не дала полку подняться в воздух для отражения юнкерсов. Ведь на разбеге и в начале взлета истребитель — лишь беззащитная мишень. Вынужден строго выдерживать прямую, а скорость еще мала...

Но на этот раз мессы прозевали разведчика — Леонид подходил к аэродрому со стороны солнца.

Мгновенно приняв решение, Леонид пошел в атаку. Он свяжет боем блокировщиков, а тем временем его товарищи взлетят... Бахтин увеличил обороты, выжимая из старенького мотора всю мощь, на какую тот еще был способен, и снова огляделся: нет ли где второй пары?

Никого больше он не увидел, но блокировщики наконец заметили ишачка — полезли ему навстречу. И Леонид позлорадствовал: заставил их принять невыгодную мессам лобовую.

В кольце вихревого вращения отблескивающих на солнце металлических лопастей винта вырастал перед ним месс. Ближе, ближе... В пропеллерном смерче выделились и засверкали две пульсирующие точки огней — ударили эрликоны. Леонид не отвечал, сближался молча — на его ишачке всего лишь пулеметы.

Почему-то представилось: сейчас, словно лоси-соперники рогами, сплетутся винт с винтом ишачок и месс. Сплющатся моторы, бензобаки, кабины... Яростный взрыв рванет обоих на части... И никогда ничего больше? Невероятно! Леонид не прервал лобовую атаку. Пусть первым отвернет — подставит себя под пулеметы — тот, другой.

И верно: впереди что-то едва заметно переиначилось. Ослабло вихревое сияние, еле уловимо наклонилось кольцо лопастей... «Уйдет в пике!» — грохотнуло в мозгу, и Леонид безотчетно отжал от себя ручку управления. И тотчас весь слился с этим, им же самим созданным движением, не выпуская месса из прицела. Ишачок зарывался носом, будто шел на кульбит. Вот мелькнул заостренный обтекатель винта, мотор, кабина месса... Гашетки пулеметов сами утонули под пальцами Бахтина. Режущий поток пуль, словно портной, вспарывающий шов, надвое развалил фонарь мессершмитта. Поникла голова немецкого пилота, а нож пулеметной очереди уже рассекал фюзеляж, хвост...

Резким толчком ишачка швырнуло влево. Невольно Леонид метнул взгляд туда: за крылом трепетало зеленое перкалевое знамя — сорванный снарядом кусок обшивки. Ведомый! Да, второй месс не зевал, хорошо еще, что по плоскости ударил...

С трудом парируя крен, Леонид вывел машину, огляделся. Ведомый набирал высоту для новой атаки. Подумалось: «А мне с этаким шарфом — только на рыцарский турнир!» Он глянул вниз: может быть, успеет увернуться переходом на бреющий? И с радостью отметил: впереди весь аэродром исчерчен пыльными шлейфами, — ястребки воспользовались, взлетели! Но раз так...

Словно торреро, изящным разворотом пропускающий мимо себя быка, Леонид положил машину на ребро. Трепыхавшуюся в попутном потоке обшивку крыла развернуло под прямым углом — так матадор раскрывает свою мулету. А Леонид еще и газ дал за ограничитель. Мотор охнул и взревел. Зато удалось заложить вираж покруче.

Месс промахнулся, проскочил мимо, Леонид полоснул его бичом короткой очереди. Но тотчас ощутил толчок — перкалевый плащ оторвался от плоскости, улетел! Леонид обрадовался.

Однако мессер преспокойно выходил из пике. Мелькнуло: «Эх, плохо тебе попало!» И, как бы услыхав его мысли, месс — эта стройная черно-желтая оса — дернулся. Заколебался, заметил, что, того гляди, попадет в окружение?

Да, сверху уже пикировал ишачок Старика — Леонид различил хвостовой номер командира. И с обоих боков осу брали в клещи два ястребка. Леонид опять дал газ за защелку, попытался выйти мессу в лоб. Но самолет не принял команду — не полез вверх. Видно, из-за сорванной обшивки уменьшилась подъемная сила.

Только тут Леонид вспомнил о фотоаппарате, о кассетах. Целы ли? Нет, он не жалел, что ввязался в драку: помешал блокировке, мессера сбил...

Увидел: один из ишачков с виража доконал второго месса — тот уже беспорядочно валился вниз. Подумал: «Наверно, Володька сработал!» И передал по радио:

— Имею повреждения, выхожу из боя!

И услышал спокойный голос командира:

— Давай, садись! Сам-то не ранен?

Вот когда Леонид вдруг испытал странную слабость. Принялся себя ощупывать. Да, по левой икре в сапог струилось тепло. Отчужденно, будто о ком-то другом, подумалось: «Осколком эрликона зацепило». Боли он не чувствовал и Старику ответил с ощущением неловкости:

— Так, товарищ командир, царапина.

Теперь все внимание Леонида сосредоточилось на

машине. Горючего оставалось в обрез — не садиться же в степи на вынужденную рядом с аэродромом. Кассеты вовремя не сдашь, да еще и под бомбежку угодишь...

В упорной борьбе с непроизвольным креном Бахтин дотянул до летного поля. Но, как всегда бывает в таких случаях, беда не приходит одна — кончилось горючее, остановился винт. Однако Леонид не стал торопиться с высвобождением шасси из крыльев — они же увеличат сопротивление! Лишь когда высоты уже оставалось немного, Леонид взялся за выпуск. Правая нога шасси сразу выскочила и закрепилась — в тишине безмоторного полета летчик отчетливо услыхал слабый щелчок замка. Но левая и не подумала вылезти из поврежденной плоскости...

Снова, как в момент встречи с мессерами, вспыхнуло и целиком завладело Леонидом упрямое азартное чувство: не уступить! Он опять был готов к борьбе. Осторожно, а вместе с тем дерзко парировал капризные порывы ветра, неожиданные крены. Сообразуясь с положением самолета, двигал ручкой и ножными педалями то коротко, еле заметно, то наоборот — резко, размашисто. И уже посадив машину на одно колесо, ловко поддерживал ее в пробеге небольшим креном... Пока скорость не погасла, пока еще мог сохранить этот противоборствующий развороту крен. Лишь в самом конце пробега Леонид опустил и хвост — притер костыль к зашипевшему, тотчас спекшемуся под ним глинозему. Вынужден был отпустить ишачка в опасный «вальс», от которого сам же так упорно его оберегал. Но он рассчитывал: на исходе пробега костыль будет тормозить не очень круто, да и недолго. А все равно Леонид молниеносно сбросил очки, отстегнулся... приготовился! Ведь самолет, заторможенный вне-

запным прикосновением крыла к земле, может встать на нос, перекувырнуться. Но ишачок не скапотировал. Прочертив поврежденной консолью глубокую кривую борозду, нехотя развернулся и устало замер. Видно, в продленном до последней возможности пробеге исчерпал весь запас угроз неуправляемой машины.

Тогда и Леонид откинулся на спинку сиденья. Оглянулся и заметил, что к нему мчится технарская полуторка, которая забавно, точно слон хоботом, покачивает на ходу длинной трубой стартера, и зеленая санитарная машина с красными крестами на кузове. Он приподнялся и, только тут ощутив острую боль в ноге, снова опустился на сиденье.

Его быстро вынули из самолета, отвезли в лазаретную землянку. И почти сразу на летное поле посыпались бомбы, хотя все исправные ишачки взлетели и вели воздушные бои с мессерами и юнкерсами. Немецкий педантизм или рассчитанное запугивание? Леонид так и не разрешил проблемы полубесцельной траты бомб — сквозь муки операции стал плохо воспринимать происходящее. Правда, все еще невольно прислушивался к гулу воздушного боя — к реву и свисту моторов, к татаканью и дробному перестуку пулеметов и пушек. Один раз даже ощутил необычно сильный взрыв: «Наши сбили юнкерс!» Но вскоре полностью потерял интерес ко всему внешнему — сосредоточился на своей боли.

Наконец доктор сказал весело:

— Ну, вроде вынул все осколки... И кость, похоже, не задета.

Он помолчал с минуту и продолжил, как бы размышляя вслух:

— Все-таки рентген сделать надо... Придется в Кизляр вас отвезти...

А Леонида вдруг почему-то охватила тревога за оставленный на летном поле ишачок. Он стал требовать, чтобы доктор немедленно послал к его самолету технарей, старшего инженера части... Забыл, что они вместе с «санитаркой» подъезжали к месту посадки?

Врач сразу же озаботился, положил Леониду руку на лоб, спросил:

— Да вы что? Уж не бредить ли вздумали?

И добавил ворчливо:

— Они и без нас с вами разберутся, голубчик.

Затем был провал. Кажется, врача вызывали куда-то. Смутно, стараясь и не имея сил очнуться, Леонид слышал чей-то разговор, будто мессеры, прилетевшие с юнкерсами, сбили двух ишачков. И что этим нашим летчикам медицина уже ничем не поможет... Леониду хотелось спросить: кого? Но опять никакой мочи не было раскрыть рот.

Потом врач сказал кому-то сердито, что получил у командира полка разрешение эвакуировать раненого.

Леонид проснулся, как обычно — ощущая себя здоровым, сильным. Только сразу же удивился: куда это он попал? Койка узкая, подвесная. И совсем рядом гладкая стенка, словно полированная. И над головой небольшое оконце, будто в каюте парохода. Значит, он не в летной землянке?

Тут вспомнилось вчерашнее. Однако его жилье ничуть не походило на лазаретное. Леонид отодвинул занавеску, сшитую из куска парашютного шелка... Перед ним простиралась настоящая пустыня — бескрайний желтый песок! Барханы дымились под ветром, сыпали брызгами. Вершины валов заворачивались, словно гребни морских волн. Только гораздо медленнее.

А все же песчаное море тихо перекатывалось, ударяло в невидимые отсюда берега. Но главное: у края горизонта, над песками, казалось, плыл не то курган, не то остров. Светло-зеленый, заросший бурьяном. И на его вершине — немецкий офицер что-то рассматривал в бинокль! Впрочем, и сам поразительно четко рисовался на фоне синего, залитого солнцем неба. Черный костюм с золотыми пуговицами, погонами, какими-то позументами... Черная фуражка с высокой тульей и золотой бляхой — кокардой на лбу. Эсэсовец? Этакое властное спокойствие во всей фигуре. Только лицо закрыто ладонями и объективом — не видно выражения.

Внезапно изумление Леонида еще усилилось: и холм и немец заметно сдвинулись и впрямь поплыли! И сразу стало ясно: они отделены от песчаного моря узкой голубой полосой — как бы висят в воздухе. Мираж!

Словно догадавшись, что обман раскрыт, видение стало бледнеть, таять... Сделался очевидным и непропорциональный расстоянию — слишком большой — размер фигуры. Леонид забарабанил кулаком по стенке своей каюты — сообразил уже, что находится в санитарной машине. Крикнул:

— Доктор! Смотрите — мираж!

Тотчас под его окном быстро прошли — почти пробежали — военврач третьего ранга Козулин и офицер разведотдела — частый гость их полка — капитан Воротов. Дверь «санитарки» открылась, и Леонид увидел задний борт полуторки. Наверно, капитан на ней и ехал — повстречался в пути. Но сразу же доктор заслонил массивной фигурой дверь — полез по трапу в каюту Леонида, осведомляясь на ходу привычно-участливо:

— Как себя чувствуете?

Машина еще сильнее закачалась, заскрипела — Воротов тоже поднимался по ступенькам.

— Превосходно! — ответил Леонид. И в доказательство сделал руками движения из комплекса физзарядки. И вдруг заопасался: не причудился ли ему одному этот странный немец? Спросил:

— Да, вы мираж-то видели?

— Конечно! Капитан Воротов даже в пути задержался из-за него. Поначалу-то фашист нормально выглядел, на живого смахивал размерами. Ну а не ровен час, за тем курганом танки спрятаны?

Козулин улыбнулся, но тут же обычным докторским тоном добавил:

— Давайте-ка пульс проверим.

А Воротов с непроницаемым видом подсел на соседнюю койку, холодно справился:

— Если здоровы, зачем же в тыл едете?

Леонид промолчал. Зато Козулин, заподозрив намек на слабину медицинской службы, откликнулся:

— У нас никто по своим личным делам не ездит! И приказы командира полка не обсуждает.

Тут уж пришлось промолчать Воротову.

Недели через две Леонид возвращался из Кизляра на попутной машине. Вспомнился мираж. Да, раньше он даже не подозревал, что на Северном Кавказе можно встретить большие пространства чистых песков. И с воздуха они выглядели совсем иначе.

А сейчас барханы давно уже тянулись то с одной стороны, то с другой, зловеще курились на осеннем ветру... Дорогу, и без того еле заметную, все чаще перетягивали невысокие песчаные хребтики. Приходи-

лось останавливать машину, прокапывать колеи... К тому же пески, казавшиеся сверху пустынными, на самом деле не были безжизненны: вся их поверхность расписана множеством разнообразных росчерков. Кто-то пробегал, прокрадывался, проползал... Леонид легко различал ровные мышиные строчки, следы тушканчиков, похожие на беличьи. Гораздо труднее было разобраться в запутанных цепочках из крестиков от птичьих лапок, в замысловатых закорючках и черточках ящерок. И неприятное, какое-то жутковатое чувство вызывали полосы, оставленные змеями.

На сильно выбитых пасущимся скотом участках степи — по-местному в бурунах — еще попадались песчаные обнажения с ветровой рябью, будто на морском мелководье, а кое-где даже небольшие барханы. Но все реже и реже. Во впадинах вдоль долин пересохших речек встречались заросли гигантского тростника — чуть не в три человеческих роста. Изредка и купки ив. Однако ни один из этих оазисов не мог сравниться с их Терекли-Мектебом.

А сколько раз Леонид вместе с другими летчиками полка проклинал его! Слишком близок к аэродрому. Могучие тополя, густые фруктовые сады, окружавшие белые мазанки Терекли-Мектеба, вся эта масса зелени в серо-желтой осенней степи — великолепный ориентир для немецких бомбардировщиков. И в последнее время юнкерсы почти ежедневно налетали то на основной, то на запасной, то на ложный аэродромы. Хотя ишачки постоянно перемещались с одного на другой, и всюду по степи были расставлены фанерные макеты самолетов, — но как маскироваться на голой доске, если даже борозды от костылей выдают работающий аэродром?

Правда, в Терекли-Мектебе скрывались разные

службы обеспечения. И по обоим концам поселка фонтанировали артезианские скважины. А без воды...

Неожиданно Леонид вспомнил: Володя Лавров, возвратясь из госпиталя, говорил, что перерыв в полетах плохо влияет не только на технику пилотирования — и на психику летчика. Володя тогда сказал: «Ты не думай — я не боюсь в драку лезть. Но, знаешь, както с оглядкой начинаю. Потом увлекусь — забуду. А вначале...»

И ему сейчас заползают в голову всякие дурацкие мысли. Еще и мираж этот...

Однако, вернувшись в часть, старший лейтенант Бахтин сразу озадачился новостью: налеты немецкой авиации на аэродромы полка внезапно прервались!

Леонид испытывал странное чувство: куда-то исчез такой привычный, мгновенно возникающий и так же быстро пропадающий тонкий свист мессеров. И не верилось, что отзвучал издалека слышный прерывистый гул юнкерсов: «Везу-везу-везу!» И телефоны в землянках больше не зуммерили нервно, не врывался в них истошный вопль постов ВНОС: «Воздух, воздух!» Прекратились неожиданные боевые тревоги. В небе стало тихо и чисто. А вскоре и земля засверкала — выпал снег. Закрыл барханы и буруны, волшебно заменил буро-желто-зеленоватые тона на один — белый. От ишачков теперь не требовали даже прикрытия наших войск — немецкая авиация их не бомбила. «Вся под Сталинград переброшена, там, говорят, фашистам здорово дали...» — распространялись по землянкам слухи. Ведь официально про окружение армии Паулюса еще не сообщалось...

Но у Леонида оставалась разведка. Многие зави-

довали, выпрашивались слетать хоть разок. И Старик иногда разрешал — «чтобы не застаивались кони».

Наконец пришел приказ перебазироваться вперед — вслед за войсками. Началось наше наступление! И тотчас в полку появился Воротов. Все такой же худой, все с той же печатью непроницаемости на лице, все в том же коричневом летном реглане.

Правда, с новыми полномочиями: собирать данные не только про немцев — о продвижении наших наземных войск. Но главное: как? Оказывается, посадками самолетов около боевых порядков передовых частей.

Воротов объяснял: наши войска наступают не сплошным фронтом, а колоннами — вдоль дорог, и очень быстро. Значит, и речи не может быть о проводной связи, тем более — между соседними соединениями. И радиограммы слишком долго дешифровать. И специальные офицеры связи не поспевают носиться на своих «виллисах» туда-сюда за подвижными войсками. А штаб фронта должен в любой момент знать, где кто находится. Иначе — как управлять?

Старик вроде бы согласился:

— Да, с воздуха номер части не узнаешь...

Однако тут же хмуро добавил:

— Только вот на ишачке зимой и в ровной-то степи не сесть — сугробы, пересыпи, перетяжки... Верный «капот». Зря машины побьем.

Он, конечно, был прав. И Леонид сунулся с проектом:

— А что, если нам, товарищ командир полка, на кукурузниках? Пока мессеров нету — сбить нас некому... И везде сядем.

— Их в полку-то всего два.

— Для такого дела нам, наверно, подкинут?

Леонид почувствовал: его вмешательство одобрено

Стариком. И взглянул вопросительно на Воротова. Подумал: «Даю тебе шанс козырнуть перед начальством знакомством со своеобразием авиации». И понял: Воротовым ситуация так и оценена — тот сразу кивнул.

Теперь во время коротких пауз между перебазированиями летчики-истребители летали на кукурузниках, довольно успешно вели поиски передовых частей конно-механизированных корпусов генералов Селиванова и Кириченко, танковых бригад генерала Титова... Но — странное дело! С воздуха все чаще и чаще обнаруживали во многих селах и станицах какие-то неизвестные пехотные подразделения. Там, где вообще никого не могло быть. А то даже и впереди самых передовых, чуть ли не в немецком тылу.

Воротов сначала не принимал всерьез сообщения летчиков. Но однажды спросил Володю Лаврова:

— Как вы определяете наличие противника в населенном пункте?

— Да очень просто. Если при нашем приближении народ выбегает из хат, машет руками, платками, косынками, шапки вверх бросает — значит, немцев нет. А когда люди, наоборот, разбегаются по хатам, норовят кто куда заховаться — жди стрельбы.

— Малонадежный способ.

— Посоветуйте лучший.

Воротов не удостоил Володю ответом. Повернулся к Леониду, сказал:

— Вы, товарищ старший лейтенант, полетите сейчас — так заодно проверьте посадкой, что за таинственные незнакомцы у вас тут объявились.

Летчики переглянулись. Володя за спиной Воротова скорчил Леониду сочувственную мину. Кто-то из наиболее смешливых прыснул.

Леонид спросил:

— А мой вылет на связь с танками Титова отменяется?

— Ни в коем случае. Надо совместить. Покажите карту.

И вот он подлетел к хутору Веселый. Впрочем, какой там хутор! Для среднерусской полосы скорее большое село — километра на два протянулись хаты вдоль балки. Леонид сделал разворот, не долетев метров двести до крайних мазанок. Набрал немного высоты, чтобы высмотреть посадочную площадку. Одновременно увидел: отовсюду выбегают люди, машут. И приветственно покачал крыльями кукурузника.

Но самое главное: заметил в полкилометре от домов, у края балки, ровную полосу! Снег на ней явно уплотнен ветром, кое-где даже полностью сдут. Леонид снизился, прошел бреющим, чтобы лучше разглядеть микрорельеф выбранного участка. Потом снова набрал высоту, зашел против ветра и решительно направил машину на посадку.

От села к самолету бежали люди. Но не женщины и дети — сплошь взрослые мужчины. Некоторые были одеты в полунемецкое обмундирование, другие — в полугражданскую одежду. И почти все — с оружием! Партизаны? Однако посадка на незнакомом поле потребовала всего внимания летчика.

Самолет осторожно — одними колесами — коснулся земли. Используя большую парусность кукурузника, Леонид как бы щупал посадочную полосу, сажал на скорости, не позволил самолету исчерпать весь запас подъемной силы. И все время был наготове — в случае чего дать газ, чтобы поддержать машину в этом пробеге-разбеге, а затем вновь оторвать ее от земли, уйти в воздух. Но посадка прошла благополучно. Не

попалось на пути самолета никакой коварной ямки, никаких снежных перетяжек.

Теперь было отчетливо видно: оружие у подбегавших немецкое, но лица — раскрасневшиеся от бега, веселые, с открытыми, что-то кричавшими ртами — наши, русские! Да и одежда больше не оставляла сомнений — такого маскарада немцы себе не позволили бы.

Запыхавшаяся ватага окружила Леонида. Ему показывали трофеи — немецкое оружие. Его обнимали, хлопали по плечам, даже качать хотели — еле отбился. И все разом: и спрашивали, и отвечали, и хохотали. И он смеялся, обнимал кого-то, лупил по спинам. И конечно, рассказывал о Сталинграде, о нашем наступлении... Но хоть и сбивчиво говорилось и с пятого на десятое слушалось, все же Леонид понял: перед ним бывшие военнопленные. Недели три назад немцы погнали их лагерь на запад, и бедолаги узнали от жителей, а потом и своими глазами увидели: фашисты отступают с Кавказа! На одном из привалов с помощью местных людей пленным удалось перебить охрану. Так они вооружились. Однако для нападения на регулярные части им не хватало боеприпасов. Пришлось разбиться на небольшие группы, разбрестись по хуторам, лежащим в стороне от главных дорог отступления немцев. За две недели они отъелись, отмылись, приоделись. И теперь спрашивали у Леонида — первого встреченного ими советского командира — как поскорее вернуться в ряды Действующей армии, куда им идти, к кому обращаться?

Но и они были первыми, задавшими ему такие вопросы. Конечно, Леонид знал пути наступления наших войск. Однако догадывался: там не смогут снабдить оружием, обмундированием бывших военнопленных. Их скорее всего отправят сначала на переформировку.

Только куда и как? Он обещал узнать, прилететь завтра. А пока что просил помочь развернуть самолет, вытащить его на подходящее для взлета место. И уже начал объяснять двум парням, как дергать винт после команды: «Выключено!» — чтобы завести мотор. Но тут один бывший пленный в тельняшке под расстегнутым ватником, державшийся заводилой, вдруг спросил:

— Может, наш главный трофей захватите?

— Что за трофей?

— Да мы немца здесь в плен взяли... Говорит, будто важные сведения имеет, но только генералу скажет. Конечно, может, и врет...

— Офицер?

— Фельдфебель. И больно чудной — вежливый. Вроде сам хотел сдаться. Как на нас напоролся, так сразу руки поднял. Один ехал на коне — отгонял скот да заблудился.

— Тащите пленного сюда — успеете, пока заведем мотор да пока проверим площадку для взлета.

Леониду не терпелось увидеть немца. Неужели тот — миражный? Правда, лица он тогда не разглядел — оно было закрыто биноклем, ладонями. А все же надеялся узнать по мундиру, по фуражке, по общему облику. И верно: и мундир, и фуражка были похожи. Однако держался немец скромно — отнюдь не выглядел победителем. Конечно, не те обстоятельства. Фельдфебель с готовностью влез в чей-то полушубок и треух — Леонид опасался, чтобы не поморозился в открытой кабине. И так же охотно забрался в самолет и безо всякого дал себя там связать по рукам и ногам. Леонид еще проверил, не сможет ли пленный зубами дотянуться до веревок, не сумеет ли их перетереть обо что-нибудь. Затем пристегнул связанного кулем немца поясными и плечевыми ремнями.

Леонид, конечно, понимал: темнота не ждет, и аэродром полка не оборудован для ночной посадки, и летчик не имеет права рисковать машиной...

Наконец они взлетели.

В полку с любопытством разглядывали немца — не часто доводится истребителям видеть пленных. Доктор Козулин, используя скудные школьно-академические знания языка, переводил немногословные тирады фельдфебеля. Все они в общем-то сводились к повторению обещания: рассказать нечто весьма важное русскому генералу.

Однако попытка командира полка выдать себя за такового не удалась: пленный почтительно называл Старика «герр оберст». Летчики смеялись: «Грамотный фриц — знает наш табель о рангах. И субординацию чтит!» Воротов связался с разведывательным отделом штаба фронта, доложил о пленном немце и о бывших наших военнопленных, обнаруженных Бахтиным. И, возвратясь с узла связи в летную столовую, объяснил Леониду, на какой сборный пункт следует направлять ребят из хутора Веселый. А командир полка приказал Володе Лаврову:

— Свезешь фрица в штаб фронта, там с ним разберутся.

И тут же добавил для всеобщего сведения:

— Сейчас, говорят, на сборных пунктах отбою нет от бывших пленных — прут и прут. Нарочно летом подтягивались поближе к фронту. Надеялись, значит, что наступать начнем. Вот и дождались!

«Мы тоже — дождались!» — подумал Леонид. Праздничное чувство владело им с начала наступления.



СПОРТСМЕН

Трофейный мотоцикл БМВ мчался по серому от пыли асфальту. Мелькали вдоль шоссе среди цветущих бело-розовых садов белые крымские мазанки.

Стремительный бег мотоцикла походил на бреющий полет, и мысли Леонида были сродни тем — рассветным... Да, он мог гордиться результатами разведки, которую провел всего два часа назад. Главное, вчера вечером удалось убедить комдива, что взлетать надо еще в темноте, хоть и нет на аэродроме оборудования для ночного старта. Леонид был уверен: ему будет достаточно десяти фонарей «летучая мышь». Их поставили на летном поле в ряд с промежутками в пятьдесят метров. И капитан взлетел вдоль этой цепочки еле заметных огней. Зато сумел подойти к устью Казачьей бухты, когда только начало развидняться. Лео-

нид строил свои поисковые заходы со стороны моря на небольшой высоте. А над бухтой выскакивал внезапно, с разных направлений. Удачно поиграл в прятки с немецкими зенитчиками. И ему посчастливилось не только увидеть, но и заснять на пленку баржу, так сильно интересовавшую командование. Эту самоходку вчера потопили наши бомбардировщики. Оказалось, она лежит неглубоко на дне. Однако на контрольных снимках ничего нельзя было разглядеть из-за волн — всегда они днем мешают съемке. А на рассвете даже легкая рябь не тревожила моря — вода оставалась совершенно прозрачной. Вот самоходка и выдала себя. Еще Леонид обнаружил вблизи селения Омега таинственные понтоны, служащие причалами для немецких самоходных барж. Заметил, что немцы их прячут под воду у самого берега. И догадался: наверно, поднимают, надувая воздухом, с наступлением темноты или когда нет наших самолетов... Во всяком случае причалы тоже прекрасно просматривались на пленке. Ее очень быстро проявили, высушили спиртом и дешифровали в штабе дивизии.

Вот эту-то драгоценность и доставлял сейчас капитан Бахтин на КП командующему воздушной армией.

Он без всяких происшествий промчался по асфальтовому проходу между бело-розовыми садами. И «пленный фриц» вынес его на простор разномастной степи. По сторонам ежиком торчали молодые всходы, свежая трава, бурьян... Лишь кое-где их приглаживали щеткой порывы утреннего ветерка, как бы примеривающегося задуть в полную силу. И повсюду степь была испятнана, словно родинками или веснушками, множеством цветов. Увы, вскоре Леониду пришлось свернуть с асфальта по подсохшему, раскатанному до блеска грейдеру. Стало рискованно любоваться ярки-

ми красками весенней степи. Капитан теперь не отрывал взгляда от поверхности проселка, застывшего серой лавой.

Наконец он домчался до КП. Поставил мотоцикл в соседней балочке вблизи машин комдива и командующего. Но на вершину холма полез по самой крутизне. Сохраняя равновесие, нагибался, балансировал, раздвигал проволочные стебли дрока, веревочные кустики полыни... Было так приятно ощущать себя ловким, проворным.

Взобравшись, Бахтин распрямился, поднял глаза. Отсюда склоны холма полого спускались в сторону противника. На фоне обычной военной дымки — занавеса из пыли, закрывавшего передний край, — видны были отдельные белые облачка разрывов. Около них взметывались темные столбы земли. Сколько раз он пролетал над этой линией боевого соприкосновения! Он оглянулся. И сразу же удивился: совсем близко, но спиной к нему стояли командующий и комдив. Наверно, поднялись из землянки. Однако оба генерала смотрели в бинокли не на передовую, а в тыл.

Невольно Бахтин тоже повернулся. Все небо на востоке и севере было затянуто сплошной частой сеткой — шли многие сотни наших самолетов. Никогда не видел Леонид сразу столько в воздухе. Вот уж стал слышен густой моторный гул. Он делался громче и громче, нарастал волной. И, опасаясь, как бы этот рев не перехлестнул через холм, не накрыл бы КП, Бахтин поспешил доложить командующему, передал пленку, показал на ней баржу, причалы...

Генерал рассмотрел все очень внимательно, расспросил обо всех деталях, и Бахтин подумал: «Такому никто не вкрутит!» И конечно, генеральская похвала порадовала капитана. А все же Леонид с удивлением

и каким-то тайным довольством про себя отметил: зрелище нашей воздушной мощи задело его сильнее лестного отзыва командующего.

Однако горделивое чувство не помешало Бахтину придирчиво присмотреться к боевым порядкам приближающихся самолетов. Истребители надежно прикрывали бомбардировщиков и штурмовиков. Впереди шел заслон из двух групп. И сзади виднелся резерв. Обычно в него выделяют лучших летчиков. Наверно, там сейчас идет Володя Лавров со своей эскадрильей... Что ж, каждому по способности — надежнее Володи никто не сумеет обуздать мессеров, если они все-таки пробьются сквозь щит авангарда яков. Недаром капитан Лавров первым в дивизии получил Звезду Героя. А на днях свалил уже двадцать шестого фашиста. Значит, скоро и дважды Героем — тоже первым в дивизии — станет.

Бахтин наконец посмотрел в сторону Севастополя. Оттуда к синему куполу неба карабкалось всего несколько черных крестиков. Так мало в сравнении с нашей армадой...

— Да, придется господам мессерам влезать в нашу шкуру, — прорвался сквозь моторный рев громкий голос командующего.

Бахтин заметил: часть мессеров вступила в бой с передовыми яками — отвлекла их на себя, но три пары мессов обошли заслон со стороны солнца. Они теперь не видны якам боевого прикрытия, может быть даже и тем, что идут в группе резерва, — солнце бьет в глаза летчикам яков...

Комдив бросился к выносному микрофону — предупредить своих истребителей о маневре немцев.

Тем временем ускользнувшие от заслона мессеры успели затесаться в боевые порядки наших самоле-

тов — затерялись среди множества машин. Как раз и применили уловку, которой ястребки пользовались в начале войны. Конечно, подражать всегда проще... А нашим в сорок первом еще и потому было труднее, что ишачки тогда больше отличались от немецких машин, чем теперь мессеры от яков. И все-таки сбивали фрицев.

Неожиданно четыре месса вынырнули сзади бокового прикрытия, связали его боем, оттянули в сторону. А в образовавшуюся брешь вонзились еще два мессера. Даже Бахтин с земли не углядел, откуда они так удачно вывернулись.

Тотчас крайний бомбардировщик задымил и, припадая на одно крыло, косо пошел вниз, а на ловких мессеров сверху свалились шесть яков резерва.

И завертелось, закипело! Будто под голубой чашей воздушного бассейна разом открыли краны — вверх взметнулись фонтанчики ввинчивающихся в небо пар: як и месс, месс и як. Они восходили спирально, кружась, вспыхивая на солнце плоскостями, смещаясь в стороны игрушечными смерчиками. Каждый стремился набрать побольше высоты и вместе с тем — не прозевать удобный момент, чтобы кольнуть противника кинжалом короткой пушечной очереди.

Особенно увлеченно танцевала свой «вальс» одна пара. Бахтину даже показалось: месс нарочно подставил яку хвост — на, мол, бей! Рассчитывал затянуть в невыгодную фигуру? Но як глубоким виражом ворвался внутрь спирали — ближе к ее оси. Оттеснил месса на внешний край. И тут же стремительно метнулся вверх — кратчайшим путем. Такой маневр мог проделать лишь очень сильный, очень выносливый летчик. На него в эти секунды давили огромные — в семь раз большие, чем его собственный вес, — перегрузки.

Зато як оказался выше своего врага. И немедленно воспользовался — резко спикировал, достал месса! Тот кувыркнулся через правое крыло, стал беспорядочно падать. А як, проскочив мимо, погнался за другим. Но фашистские летчики, словно по команде, все разом вышли из боя, пустились наутек. Яки помчались вдогон. Впрочем, и вся наша воздушная армада уже далеко продвинулась на запад, унося с собой волну моторного гула.

Падая, сбитый мессершмитт вдруг окутался красным с черной каймой плащом огня и дыма. Будто по самому себе траур зажег. И тотчас от самолета отвалился большой темный комок.

Бахтин догадался: немецкий летчик жив или только легко ранен. Он падал отвесно и... прямо на КП! Но почему-то не открывал парашют. Не мог? Или боялся, что его расстреляют? Хотя вокруг уже не было самолетов. Лишь на высоте ста метров немец раскинул руки, и над ним распустилась белая чашечка ландыша. А все равно парашютист опускался на КП.

Генералы опять переглянулись, и Бахтин готовно подался вперед, вынул пистолет из кобуры...

— Обезоружьте! — негромко приказал комдив.

С криком «Хэнде хох!» капитан бросился к уже приземлявшемуся в каких-нибудь двадцати метрах вражескому пилоту. Тот падал на пологий склон холма, слегка согнув ноги в коленях и плотно сдвинув их вместе. А едва коснулся земли, свалился на бок. Но тут же вскочил, стал подтягивать стропы парашюта — гасить все еще надутый купол. Действовал по правилам, словно совершал очередной учебный прыжок у себя на аэродроме. И, очевидно, не был ранен. Однако, несмотря на бесспорную ловкость, даже изящество движений, немец не выглядел молодым человеком.

Бахтин волновался. В воздушных боях он стрелял по самолету. Часто и не видел вражеского летчика. А тут, кажется, предстояло нечто вроде дуэли. На бегу Бахтин не отводил взгляда от огромной деревянной кобуры, болтавшейся на поясе немецкого пилота. И в то же время следил за его правой рукой. Твердо решил: первым даст предупредительный выстрел, если тот вздумает коснуться кобуры. Только не знал: целиться ли ему в ноги или вообще демонстративно стрелять вверх? Хотя в самом-то деле не на дуэль же вышел капитан Бахтин — просто должен взять в плен врага.

Он почти вплотную набежал на немца. Теперь отчетливо видел: тому за сорок. Но вот рук будущий пленный не поднимал! Правда, и попыток сопротивляться или бежать — не делал... Вторично Бахтин провозгласил свое заклинание:

— Хэнде хох!

Все еще его приковывал к себе парабеллум немца, торчащий концом длинного дула из деревянной кобуры. Однако краешком глаза Бахтин не без удовольствия отметил: от спрятанных в балке машин уже бегут адъютант и шофер командующего — оба с автоматами.

Неожиданно вражеский пилот произнес очень чисто по-русски:

— Я спортсмен, а не бандит, на земле не воюю.

Бахтин изумился, но сказал как мог небрежнее:

— В таком случае — ваше оружие!

Тоном постарался замаскировать свое удивление — не хотел ни в чем уступить врагу. Однако про себя растерянно подбирал объяснения: «Перебежчик, предатель? Но тогда он скрывал бы свое знание языка, да и держался бы поскромнее...»

Еще и необычная пряжка на диковинной кобуре мешала сосредоточиться. Леонид ее расстегивал одной левой — правой чуть не втыкал в грудь немцу свой «ТТ». А застежка, конечно, невыносимо долго не поддавалась. И немец смотрел на капитана со скучающим видом. Кажется, даже едва заметно усмехался? Правда, не шевелился. Но вовсе не выглядел взволнованным, испуганным...

Наконец мудреный замок покорился, парабеллум лег в ладонь капитана. Все же затянувшаяся возня с обезоруживанием, оторопь в мыслях, а теперь еще и собственная нелепая поза — два пистолета в вытянутых руках — вызвали приступ стеснения. Бахтин пролепетал:

— Пройдемте!

И тут же вспомнил: «Любимая формулировка милиционеров!»

А немец вдруг как-то весь подтянулся, пошел печатным шагом. Но, не доходя пяти метров до командующего, резко остановился — Бахтин чуть не налетел на него сзади, — четко приложил руку к шлему, громко выпалил:

— Господин генерал! Герцог впервые принужден сдаться в плен!

Ошеломленно капитан соображал: «Неужели захватил эмигранта-аристократа?»

А генералы не обратили внимания на хвастливый тон пленного, ничуть не удивились его русской речи, его аристократическому титулу. Принялись расспрашивать о тактике истребителей эскадры «Удэт». И сиятельная особа отвечала весьма обстоятельно, даже вроде — охотно! Вопросы задавались обычные. Но в них, как казалось Бахтину, присутствовало еще кое-что помимо чисто профессионального интереса. Вроде

бы генералы давно знают этого странного немца? Действительно, командующий вдруг спросил:

— Так сколько же теперь числится за вами самолетов?

Невольно Бахтин подумал: «теперь! Значит, счет уже когда-то велся, был известен нашим? Но откуда? Не за круглым же столом они встречались. Вот разве в Испании?»

И было похоже, что пленный тоже прекрасно знает, кому отвечает. На «интимный» вопрос командующего отрапортовал с победной усмешкой:

— Сто пятьдесят три, господин генерал!

И прищелкнул каблуками. Однако тут же стер улыбку с лица, принялся деловито перечислять: столько-то в Польше, во Франции, над Англией... Затем были названы Норвегия и Ливия, Греция и Югославия, наконец — Италия... А в Россию его перевели совсем недавно... Непринужденно аристократ рассказывал, какими приемами добивался победы. Конечно, ему попадались и устаревшие военные самолеты, и вовсе беззащитные транспортники... Но спорт есть спорт, законы игры одинаковы для всех — выигрывает более сильный, более ловкий. И раз ты слаб, то нечего и ввязываться в борьбу...

А Бахтин прикидывал: сто пятьдесят три самолета?.. Правда, этот спортсмен уже больше четырех лет воюет. И с плохо подготовленными противниками. Покрышкин вон за два года около сорока самолетов сбил. Но каких! Тех самых победителей Европы, один из которых здесь хвастает...

Вдруг капитан услышал весьма вовремя заданный вопрос комдива:

— Неужели вы все еще надеетесь на победу Германии?

И уклончивый витиеватый ответ пленного:

— Мы потрясены величием России! Россия встала, как феникс из пепла!

Бахтин догадывался: тому, кто привык побеждать, даже очутившись в плену, трудно признать себя потерпевшим поражение. Тем более, когда он только что проповедовал правоту победителей. И капитан понимал, что этот спортсмен мерит славу его родины лишь числом и качеством наших самолетов. А все-таки... Это ведь всегда заманчиво: выслушать лестную оценку сильного врага. Да еще тобою же взятого в плен... Невольно Бахтин повторял про себя: «Величие России, величие России...»

Немецкий ас перешел к рассказу о своем последнем воздушном бое. На международном языке летчиков — с помощью собственных ладоней — демонстрировал последовательность взаимных атак в погоне за высотой.

Бахтин придвинулся поближе, чтобы лучше видеть, ничего не пропустить. И оказался рядом с комдивом. Тотчас генерал легонько коснулся его правой руки, лукаво улыбнулся и глазами показал капитану на пистолет «ТТ», который тот все еще держал наготове... Предохранитель не был спущен! Значит, Бахтин брал аристократа в плен голыми руками?.. И может быть, спортсмен это видел? Недаром усмехался... Но главное: капитан не только уважал — любил своего командира дивизии, а так перед ним опозорился!

Герцог тем временем уже просил, чуть ли не требовал, чтобы ему показали летчика, который его сбил. Он убежден, что с ним дрался гроссмейстер! Только настоящий летчик мог не попасться в хитрую ловушку...

Тут Бахтин с удовольствием уловил новый оттенок

в ответе командующего. Приказав по радио разыскать в диспетчерских журналах дивизий фамилии тех, кто вел бой, генерал сказал жестко:

— Напрасно думаете, Герцог, что ваше широко известное имя дает вам особые права. Помните, вы здесь — военнопленный.

И опять Бахтин изумился: выходило, что «герцог» — не титул, а фамилия немецкого аса! Да еще и многим знакомая... Правда, эта новость не приоткрывала завесы над тайной русской речи немца. Пожалуй, наоборот — только затемнила ее...

Однако найти того, кто сбил Герцога, оказалось не просто. Донесения от полков еще не поступали. Ждать их пришлось бы не меньше получаса. Удалось лишь выяснить: все воздушные бои велись летчиками дивизии, в которой служил Бахтин.

Может быть, генералам и самим хотелось поговорить с победителем Герцога? Во всяком случае, командующий решил заехать вместе с пленным в штадив. Ведь к моменту их приезда должны вернуться на свои аэродромы истребители, а вслед поступят и донесения из полков...

Бахтин первым примчался в штаб дивизии. Должен был сдать разведотделу пленку. И сразу узнал, что в трех донесениях сказано: «Вел бой, результатов не наблюдал». Но лишь у капитана Лаврова обнаружен солидный расход боеприпасов. К тому же известно: Лавров командовал шестью яками резерва, которые атаковали мессеров, подбивших нашего бомбардировщика. Взвесив все это, начальник штаба вызвал капитана Лаврова в штадив. И тот уже несся сюда на таком же, как у Бахтина, трофейном мотоцикле.

Тут вбежал техник по связи, заорал с ходу:

— Есть! Нашел в записях радиопереговоров! Лей-

тенант Тарасенко в семь двенадцать крикнул: «Семнадцатый сбил месса! Подтверждаю!»

Все знали: семнадцатый — номер на хвосте лавровского яка. Теперь отпадали последние сомнения — Володя одолел лучшего немецкого аса!

И, конечно, именно в эту минуту ввалился виновник торжества. Он, оказывается, в горячке боя не расслышал подтверждения Тарасенко. Да и сам не заметил, куда делся месс.

— Вроде бы чуял, что на этот раз ему крепко попало... Но чутье и обмануть может, — смущенно отвечал Володя на упреки окружающих в чрезмерной скромности. Кажется, даже чувствовал себя виноватым: задал штабным офицерам столько лишней работы...

Наконец в штадив вошли генералы. За ними адъютант и шофер командующего ввели пленного.

И Герцог мгновенно просиял, узнав, что сбит Героем Советского Союза капитаном Лавровым. С лица блистательного спортсмена стерлись всякие следы невозмутимости. Самодовольно улыбаясь, Герцог спросил Володю:

— Почему после второй атаки вы не пошли за мной мелким виражом — не повторили мой маневр? Ведь я подставил хвост...

Усмешка Герцога показалась знакомой: так же он смотрел на Бахтина в момент пленения — снисходительно. Побежденный в воздухе, уж не собирался ли взять реванш на словах?

А Володя, конечно, не мог не удивиться русской речи немца. Однако вида не подал. Отбил спокойно:

— Видел, что не достану, но могу потерять выбор следующего маневра. Жертву и в шахматах не всякий примет.

— Разве вы не боялись потерять меня из виду?

— Нет, — все так же ровно отвечал Володя. — Я сделал боевой разворот с бóльшим креном — не переставал наблюдать за вами, а заодно выскочил выше вас.

Теперь пришла его очередь усмехнуться. Но Володя только добавил холодно:

— Вот и смог успешно атаковать.

Тут уж Герцог погасил свою улыбочку. Противники еще продолжали разбирать подробности боя. Их ладони летали по воздуху, как бы повторяя подлинные эволюции яка и месса. Однако немец больше не пытался вставать в позу экзаменатора. И, покидая штадив вслед за командующим, выглядел невесело. Может быть, впервые по-настоящему почувствовал себя военнопленным?

Вдогонку ему радиотехник бросил довольно громко:

— Немецкого-то аса и с неба ссадили и спеси лишили!

Конечно, все засмеялись. Наверно, у большинства штабистов сложилось впечатление: капитан Лавров так же легко победил Герцога в воздухе, как в словесно-жестикуляционном турнире — здесь, у них на глазах.

Только сам Володя не спешил принять торжественно-победный вид. Даже немного смущенно спросил комдива:

— Что это, товарищ генерал, крестник-то мой так ловко по-русски? На власовца не похож, гонора больно много...

Генерал улыбнулся было, но переборол соблазн — ответил серьезно:

— Нет, Герцог — прибалтийский немец. С детства говорит по-русски — получил образование в одной из

рижских гимназий. Правда, после революции родители увезли его в Германию. Однако лет через десять-двенадцать Герцог был прислан в Липецкую летную школу для усовершенствования. Опять у нас учился. Конечно, пока Гитлер не пришел к власти...

Бахтин знал: и комдив и командующий тоже кончали Липецкую школу — возможно, в одно время с блистательным спортсменом? А потом в Испании с ним дрались — давнее знакомство!

— Разрешите вернуться в полк? — спросил Володя.

— Да, конечно, вы оба свободны... — Генерал отвечал рассеянно. Видно, прошлое не сразу и не легко отпускало от себя.

Капитаны вышли во двор. Вдруг Володя заговорил тихо:

— Знаешь, Ленька, этот немец мне куда труднее других достался. Попортил крови... Выходит, сами себе на шею его учили...

— Зато сами и отучили, — отшутился Бахтин где-то слышанными или читанными словами.

А лет через пятнадцать-двадцать после окончания войны Леонид Сергеевич разговорился как-то в поезде с соседом по купе — оказалось, воевали на одном участке фронта. Сосед не был летчиком, однако служил в авиачастях. И Леонид Сергеевич рассказал ему о блистательном спортсмене. Сосед слушал внимательно и отозвался живо:

— Да, интересно, я ведь не знал, как Герцога в плен брали.

— Значит, вообще-то слыхали о нем?

— Конечно. До вас разве не дошло, что с ним потом было?

— Нет. Севастополь освободили через несколько дней, и наша дивизия сразу перебазировалась под Житомир.

— Ну, а мне по роду моей службы пришлось заняться делом этого Герцога вскоре после окончания войны. Поступило на него заявление: один пленный молодой летчик сообщил, что летом сорок первого Герцог учил их «действиям по наземным целям». Они тогда наступали через Белоруссию. Герцог выбирал глухие лесные деревни. И сначала бил зажигательными по соломенным крышам. А когда из горящих изб выбегали люди — по живым мишеням тренировался. Или штурмовал обозы с эвакуированными, расстреливал с воздуха женщин, стариков, детей...

Леонид Сергеевич вдруг увидел цепочки немецких беженцев, бредущих в сорок пятом на запад по обочинам дорог. Нет, ни ему и никому из его товарищей — советских истребителей — и в голову не приходило вымещать на мирных жителях свою ненависть к фашизму. А ведь у многих летчиков были убиты или обездолены близкие...

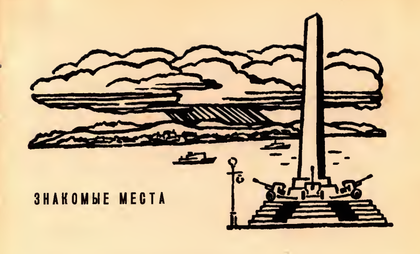
Невольно Бахтин перебил соседа:

— Его судили?

— Да, в ГДР. Только сначала для проверки отправили в Белоруссию. И в тех деревнях, где бесчинствовал Герцог, нашлись люди, уцелевшие после его «тренировок». Они подтвердили факты, сообщенные молодым немецким летчиком. А потом выступили свидетелями на процессе...

«Я спортсмен, а не бандит», — вспомнилось Бахтину.

1965



ЗНАКОМЫЕ МЕСТА

В автобусе было жарко, сильно трясло, пахло бензином. Леонид Сергеевич с тревогой поглядывал на жену — не укачало ли? Наконец приехали в Керчь. Лида вышла, пошатываясь. С гримасой отвращения перешагнула через лужу солярки. Попросила жалобно:

— Давай сразу уедем из этого противного городишки.

Леонид Сергеевич подумал: «Вот, как ребенок — бьет по «нехорошему» столу или шкафу, о который ударилась». Лида забыла, что хотела посмотреть места, где он начинал воевать.

На автостанции Леонид Сергеевич выяснил: до вокзала далеко, туда придется добираться городским автобусом. Но Лида, конечно, видеть их больше не может. Он предложил:

— Не лучше ли сначала в гостиницу? Тебе нужно отдохнуть, да и ближе, все-таки с вещами тащиться...

Пешком они кое-как прибрели к «Готелю». И тут им вдруг неслыханно повезло: нашелся свободный номер! Правда, всего на двое суток — до приезда эстонской киноэкспедиции...

Немедленно Леонид Сергеевич принялся звонить на вокзал — узнавать расписание поездов, которого в «Готеле» почему-то не было. Увы, соединиться не удалось: вокзальный кабель ремонтировали. Надо отправляться на станцию!..

— Ничего, теперь ты спокойно можешь оставить меня одну, — сказала Лида, примащивая под голову диванную подушку.

— И приходи скорей, я тебя очень жду, — добавила она совсем уже сонным голосом.

Он улыбнулся — представил себе это «ожидание во сне». И, все еще улыбаясь, вышел на улицу.

Однако, вместо того чтобы повернуть к автобусной остановке — ехать на вокзал за расписанием поездов, — Леонид Сергеевич быстро зашагал по набережной в противоположную сторону.

И тотчас перед ним помчался зигзагами по заливу среди фонтанов, вздыбленных немецкими бомбами, юркий катерок. Вот, немного не доходя до берега, ткнулся носом — застрял на отмели. Прямо в воду спрыгнули летчики-сержанты в новой форме. Освобожденный от груза катер всплыл на волне, поспешно дал задний ход и, бодро отфыркиваясь, еще резвее побежал назад — в Тамань, за следующей партией. А летчики медленно зашлепали по мелководью, стараясь сохранить на лицах невозмутимое спокойствие. Видно,

их жизненный и военный опыт ограничивался десятилеткой, шестимесячным курсом военного училища да восемнадцатью годами бытия. Даже выйдя на песчаную отмель, они не обратили ни малейшего внимания на щель Леонида, не припустились бежать к окопам, вырытым у опушки парка...

Но тут лейтенант Бахтин расслышал в общем моторном гуле пронзительный, резко нарастающий свист бомб. Он приподнялся, крикнул во всю мочь: «Ложись!» Махнул рукой сверху вниз, надеясь хоть жестом объяснить ребятам, чего ждет от них. И немедленно сам шлепнулся на дно своей щели. Земля задрожала под ударами бомб, по углам окопчика со стенок пролились песчаные ручейки. Снова Леонид выглянул. Два летчика послушались команды: легли ничком, прикрыв головы локтями, словно изготовились ползти по-пластунски. Трех других разметало взрывами. Леонид посмотрел вверх. С торжествующим ревом последний в цепочке юнкерс вышел из пике. И лейтенант сообразил, что до следующего захода успеет подбежать к паренькам, оставшимся в живых. Верно: затащил их в щель раньше, чем посыпались очередные немецкие сотки.

Наконец пикировщики отбомбились, ушли за гору Митридат. Втроем с Колей и Витей Бахтин собирал и закапывал останки погибших. Виктор при этом подавленно молчал, только губы его иногда шевелились. А Николай тихо всхлипывал и даже не отворачивался... Нет, Леонид не мог осуждать новичков. Он мысленно повторял: «Ну, пусть бы меня — я жил и видел. Но зачем мальчишек, ничего еще по-настоящему не испытавших?..»

И надо же было лейтенанту Бахтину именно в этот момент очутиться на берегу... Парни, оказывается,

имели направление в его полк! Целых пять часов Леонид добирался с ними до аэродрома. А прошли каких-нибудь три-четыре километра. Зато сколько щелей излазили, во скольких воронках посидели, во скольких канавках полежали... И чего-чего не навидались! Хотя с них вполне хватило бы одного дома, где старуха и девочка... Да что вспоминать! Витя и Коля подружились с Леонидом. Только... через несколько дней, здесь же в Керчи, мессеры сбили Николая на взлете. А вскоре и Виктор во время боя над аэродромом столкнулся с юнкерсом. Или таранил — мстил? У южной окраины летного поля схоронили ребят.

Но все-таки где же эта отмель, эта песчаная коса, на которую они высадились?

Сам того не замечая, Леонид Сергеевич убыстрял шаг. Он теперь почти бежал по набережной. И ничего не узнавал. Справа тянулись цветники, бульвар, засаженный молодыми акациями. Слева — каменная балюстрада. За ней совсем близко, словно в налитом до краев блюдце, стояла неподвижная, прозрачно-черная вода залива. А в памяти отчетливо рисовалась песчаная коса, огромные деревья, крохотные белые домики...

Вот вдали показалась беседка. Ровные низенькие бутылочки балюстрады аккуратно обтекали ее колонны. Машинально он шел дальше. Потом над самой водой нависла неуклюжая деревянная времянка — спасательная станция ДОСААФ. Потянулся городской пляж — площадка, сложенная из бетонных кубов. Кое-где она прерывалась лестницами, спускавшимися к воде. Они уже зеленели водорослями. Хотя всего этого, конечно, не было двадцать два года назад. Как и многоэтажных домов в глубине бульвара...

Набережная казалась нескончаемо длинной. Но ведь не приснилась же ему встреча с молодыми летчиками?..

Наконец справа, сквозь реденькую листву восстановленного после войны парка, замелькали приземистые домики. За высокими каменными заборами прятались дворики, крытые живой кровлей виноградной лозы. Где-то здесь, должно быть, жили девочка и старуха... Только разве найдешь тот дом? Сейчас все они со своими низкими оконцами кажутся одинаковыми. И нет рядом прибрежного песка, перекопанного щелями. Не врезаются в отмель малютки-катера. Не прыгают с них люди прямо в воду. Не бегут куда-то под бомбами. Не укрываются в окопчиках, ровиках, воронках... И лейтенанту Бахтину не нужно доставлять штабу фронта пакет с фотопленками особой важности, которые добыты им в трудном разведывательном вылете. И не надо вести за собой двух молодых пилотов, послушных и трогательных в своей доверчивости... Так зачем он бежит?

Леонид Сергеевич остановился. Искусственная гавань преградила дорогу. Широкий канал уходил в глубь берега. Совсем другого — закованного в каменные плиты...

Прохожий показал ближайшую автобусную остановку. Машинально Леонид Сергеевич спросил билет до вокзала. И уставился в окно. Автобус шел вдоль набережной. Вот промелькнула гостиница. Теперь высокие новые дома стояли уже с обеих сторон приморского бульвара, закрывали гавань. Из-за них поднимались огромные портовые краны. Он прочел вывеску: «Судоремонтный завод». На следующей разобрал лишь одно слово: «Холодильник». Но в автобусе сразу запахло знаменитой керченской селедкой.

— Вам сходить, — сказала кондукторша.

Он поспешно вышел. Очутился у низкого забора с узенькой калиткой. В глубине маленького сада виднелось барачного типа здание. На нем громоздился каркас из металлических трубок с надписью: «Морской вокзал». Морской! Леонид Сергеевич усмехнулся: «Судьба в Тамань посылает. Там-то, наверно, все попрежнему...»

Двери были гостеприимно распахнуты. Но в большом зале с низкими потолками — ни души. И окошечки касс наглухо задраены. Рядом на черной доске мелом написаны даты отправки теплоходов Ростовско-Батумской линии: один недавно ушел, другой будет через три дня... Все же Леонид Сергеевич обнаружил в расписании пригородных рейсов теплоход на Тамань, который отправляется рано утром, а к обеду возвращается в Керчь.

Уходя, Леонид Сергеевич поймал себя на довольно странной мысли: «Вот бы дня на два отменили поезда! Ну — ремонт этого знаменитого парома... Или еще что-нибудь...» И в автобусе он снова и снова задавал себе вопросы, на которые иногда так трудно ответить.

Маленький, не по городу, железнодорожный вокзал встретил его вполне будничными хлопотами. Выяснилось, что поезд отходит в девять вечера. Но либо сегодня, либо послезавтра. И Лиде надо хоть денек отдохнуть, познакомиться с Керчью... А завтра они, возможно, поплывут в Тамань... Не проще ли добраться до Туапсе самолетом?

Опять Леонид Сергеевич сидел в автобусе у окна, опять он ничего не узнавал. Только сойдя около переезда и поднырнув под шлагбаум, вспомнил...

Как раз где-то здесь показали лейтенанту Бахтину гитлеровского капитана. Невысокий, плечистый, он шел бодрясь, но явно через силу, даже припадал на левую ногу. Ни фуражки, ни летного шлема у него не было. На лице виднелись следы запекшейся крови, синяки, ссадины... Старым и несчастным выглядел воздушный волк, многократно бомбивший город. Несколько небрежно Леонид спросил: «Неудачное приземление?» — «Просто ребята морду гадюке набили», — усмехнулся один из конвоиров. И Леонид никого не осудил. Понял: им, наземникам, куда труднее выносить ежедневные бомбежки, когда нечем дать сдачи. А конвоир ткнул пальцем Леониду в грудь, обращаясь к немцу, добавил: «Вот кто тебе капут сделал!» — и рассмеялся. Леонид, поймав на себе взгляд пленного, ощутил мгновенную вспышку гордости. Хотя...

Прорваться к флагману удалось случайно. Вовсе не выиграл он шахматную партию, которую вел с мессерами. Сделав очередной «ход», увидел: противник может нанести ответный удар! Одновременно понял: его не отразить ишачку. И внутренне замер. Но месс ошибся — ему, наверно, почудилось, будто Леонид пытается уйти вниз, и он сам спикировал. Вспыхнуло торжество: сумел надуть! На несколько секунд лейтенант Бахтин оторвался от месса, взмыл под живот флагманскому юнкерсу... Пожалуй, единственной заслугой Леонида были две прицельные очереди по обоим моторам немца. Тут он не пробил мимо ворот — попал. Однако не до триумфов ему тогда было. Едва успел отвалить, как в него снова вцепился обманувшийся так глупо мессер. Леонид даже не заметил, куда упал сбитый им флагманский юнкерс. Крутился, как пес за своим хвостом, — старался использовать преимущество ишачка: небольшой радиус разворота. Смешно

теперь сказать: преимущество! Просто следствие главного недостатка — малой, сравнительно с мессершмиттом, скорости полета.

А все же изловчился зайти в хвост ведущему мессу. Но ведомый помешал — очередь Леонида прошла, наверно, правее... К счастью, мессеры не могли применить вертикальный маневр, так как Леонид держался почти под самым строем немецких бомбардировщиков. Удивительно, что ни в него, ни в мессеров не угодила ни одна из сброшенных бомб. Говорят, это случалось с американцами; ниже летящие попадали под бомбы летевших выше. А Леонид больше всего боялся, что у него кончится горючее раньше, чем уйдут немцы. Но ему, как всегда, везло — бензина хватило. Он успел сесть, даже зарядился до появления новой волны юнкерсов. И вот посмотрел своего «крестника».

Конечно, в здании аэровокзала все кассы были закрыты. Только буфет работал. Двое мужчин лет тридцати, опершись о стойку, спорили про способы насадки винта на вал. «Авиамеханики!» — подумал Леонид Сергеевич. Буфетчица поглядывала на них явно неодобрительно — видимо, приближалось время обеденного перерыва. Но спорящих это мало заботило.

Окончательно запутавшись в расписании рейсов, Леонид Сергеевич спросил женщину:

— Не знаете ли, когда отсюда идут самолеты на Туапсе?

Она не успела ответить — вмешались авиамеханики. Доброжелательно и весьма подробно принялись объяснять что к чему.

Леонид Сергеевич понял, что лететь придется в самую болтанку, на легких машинах и с пересадкой в

Краснодаре. Стало ясно — Лиде такое путешествие достанется еще труднее автобусного. А буфетчица уже не просто нудилась — убирала пустые кружки, вытирала стойки, закрывала шкафы. Надо было прекращать разговор. Только... Леонид Сергеевич спросил:

— Давно вы здесь работаете?

— А что?

Его собеседники мгновенно насторожились, доброжелательность слетела с их лиц.

Удивляясь и чувствуя себя как на экзамене, Леонид Сергеевич рассказал, что летал с этого аэродрома, а теперь хочет найти могилы своих товарищей, погибших в сорок втором году. Так вот, не знают ли они, сохранилось ли кладбище на южной окраине летного поля? Там в изголовьях кое у кого еще старые пропеллеры стояли...

Лица механиков разгладились. Оба заговорили наперебой.

— Какие сейчас винты! Небось сожгли в оккупацию — за каждой щепкой охота шла.

— Кладбище давно сровняли — летное поле понадобилось расширять.

— И то, друг, о покойных чего печалиться? Им много не надо! Живым вот...

— Лучше пивка с нами. Расскажешь, как оно здесь в сорок втором-то... Клашка, налей!

— Дожидайся, налью! Сначала с карманов повынайте.

— Мы сами-то еще шпингалеты были, а тоже помним...

— Не лайся, Клавдия, можем и на свои. Не то друг угостит.

— ...бомба рядом вдарила — стекла посыпались. Ну, бабка под койку. И откуда прыть взялась? Я-то

с детства уважение к железу имел. Подумал: «Койка выдюжит!» Да и махнул за бабкой. Тут вторая бомба бабахнула — хата завалилась. Не знаю, кто нас откопал, только бабку схоронить пришлось — железякой от койки ей по темечку угодило...

Леонид Сергеевич неожиданно для самого себя перебил:

— Бабушку-то пожалел тогда?

Вопрос на мгновение озадачил рассказчика. Но он тотчас справился, отрезал:

— Ну уж, тут о себе впору было разжалиться. Да мы нытью не обучены.

Леонид Сергеевич невольно стал искать оправдания: «Конечно, в такое время расти и не ожесточиться...» А в паузу вклинился другой механик:

— Наша мать все окна подушками заложила. Ведь когда немцы входили, пули словно пчелки — «взы, взы...». После в подушках нашли несколько. Махонькие, видно, автоматные...

«Неужели и мне, — думал между тем Леонид Сергеевич, — просто слушатели нужны, чтобы выговориться, повспоминать. Хотя сколько раз рассказывал? И не первым встречным — молодым летчикам, друзьям...»

Мелькнуло сравнение. Когда в сороковом году немцы жестоко бомбили Лондон, в газетах промелькнуло сообщение о жителях столицы, застигнутых неожиданным бедствием. Одни останавливали на улицах первых встречных и делились впечатлениями от взрыва, разрушившего соседний дом, но пощадившего их собственный. Другие носили на груди дощечку с надписью: «Я не интересуюсь упавшей вблизи вас бомбой». И Леонид, прочитав о чудаках-англичанах, кажется, не осуждал ни тех, ни других. Правда, лондонцы тогда воспринимали события непосредственно, были

их участниками. А он теперь только насилует свою память.

Леонид Сергеевич усмехнулся. Однако буфетчица, видимо, иначе относилась к проблеме воспоминаний. Сердито крикнула:

— Ничего вам не будет! Еще себе дружка нашли! Говорят, закрываю!

Механики обернулись к ней — отстаивать свои права. А Леонид Сергеевич тихо выскользнул в дверь. Обогнул здание. И ходко тронулся к южной окраине летного поля. Нет, он не нашел могил, да и на аэродроме ничего не смог узнать — все так изменилось...

Лида заново открывала город.

— Знаешь, он похож на маленькую Одессу. Вот эта улица — вылитая Пушкинская. Такая же тенистая. Даже еще лучше: по ней ни машины, ни троллейбусы не ходят — вся людям отдана.

— Одесса — плоская, а здесь — Митридат!

— Значит, это — Севастополь пополам с Одессой. А набережная! Как невская — вода рядом. По-моему, прекрасно, что Керчь рвется к морю. У любой улицы — в конце залив! Почти вся бухта глазам открыта. Да, в приморском городе нельзя главную прелесть за домами прятать...

— Ну, я рад, что тебе нравится «этот противный городишко».

— Сам ты противный. Ой, «Дары моря»! Правда хорошо? Зайдем?

— Конечно.

— Смотри-ка! «Сто блюд из мидий»! — прочла Лида на огромном рекламном щите.

Правда, в ресторане «Дары моря» вместо ста

нашлось лишь одно блюдо: гуляш из мидий. Зато оно оказалось вкусным. Потом им предложили на выбор: кефаль, ставриду, зубатку...

Слегка отяжелев и разморившись, Лида поднималась на Митридат по суживающейся постепенно к вершине лестнице. Но какой длинной! С каждой площадки открывались все новые и новые виды. Леонид Сергеевич фотографировал. Только вот ветер иногда растрепывал Лиде прическу, или как раз в момент съемки поза казалась ей нелепой. А Леонид Сергеевич любил живые естественные кадры.

У обелиска Славы двое пожилых приезжих и местный «гид» говорили о раскопках, о находках... Лиде, конечно, захотелось попасть в краеведческий музей. Они быстро сбежали с Митридата. Всего в нескольких залах величественно прошла перед ними почти трехтысячелетняя история города, подлинные античные фрески, посуда, монеты, скульптура...

И вечером Лида продолжала открывать в Керчи неожиданные достоинства.

— Знаешь, — говорила она задумчиво, — мне кажется, здесь нет в толпе того курортного духа, который «сообщает пошлость Сочи» даже скромным городкам юга. Но почему?

— Может быть потому, что в сентябре... «артельщики, завмаги, воротилы вернулись на Столешников давно» — помнишь эти стихи Межирова? А мы с тобой — «люди сентября».

— Нет, — настаивала Лида, — просто Керчь принадлежит не курортникам, а металлургам, горнякам, строителям, рыбакам. Вот они и задают тон.

Леонид Сергеевич вглядывался в густой поток гуляющих, медленно плывущий то по тенистым, то по ярко освещенным улицам центра. Он помнил Керчь бе-

лую от известковой пыли, всю в царапинах и воронках, в щелях и ямах, а позже — в развалинах... И полупустую... Не находил того города́, который навсегда остался в памяти.

— Ты о чем-то другом думаешь, — обиженно протянула Лида.

— Не столь усердно, чтобы не заметить, как глубоко проработана тобою книжка «Историко-краеведческий очерк».

— Нет, правда?

— Правда, как всегда, твоя. А я — законченный невежа. Давай завтра утром поплывем в Тамань — ведь до поезда у нас еще два дня в запасе...

— Давай. Только вдруг меня укачает?

— Посмотрим по погоде.

— А там есть пляж?

Вот о таманском пляже он почему-то ничего не мог припомнить. Должно быть, в мае сорок второго не хотелось купаться. Холодно, или не до того было?.. Но теперь, наверно, и в Тамани все переменилось?

Он ответил, улыбаясь:

— Конечно, там великолепное купанье.

Море лежало впереди густой и гладкой пенкой на остуженном молоке. Только без края, без берега... Сливалось с белесой мутью неба. Сквозь нее матовый свет утра едва проступал, тускло отражался на воде и снова тонул в дымке. Недвижимо, будто черные точки на перламутре огромной раковины — не то на море, не то в небе висели рыбачьи лодки. Прямо от солнца, еле угадываемого во мгле, медленно спускался небольшой катер. И стремительный теплоход «Пион», на баке которого среди мешков и матрацев пристроились Леонид

Сергеевич с Лидой, осторожно и вкрадчиво резал воду. Словно с опаской шел в пронизанную солнцем молочную белизну моря и неба.

Многочисленные палубные пассажиры быстро разместились, смолкли, задремали... И Лида прилегла щекой на плечо мужа. Вскоре она задышала ровно, совсем по-домашнему — с чуть слышным присвистом, всегда умилявшим его своей детскостью.

А Леонид Сергеевич старался и не мог себе представить это притихшее море другим — волнующимся, ярко-синим, под беспощадно ясным небом... И тех, кто выгребал по нему к Тамани на бревнах, на автомобильных камерах, на оторванных от кузова бортах автомашин. И ловких, быстрых на расправу мессеров, носившихся вдоль пролива. Как злорадно, должно быть, татакали их пулеметы и пушки, расстреливая беззащитных... Мог ли он тогда пролететь мимо, не вмешаться?..

«Пион» прошел косу Тузла. Взлетели с вешек, поставленных над сетями, черные с длинными шеями бакланы. Покружились, снова сели на свои НП. Стороной низко-низко протянули утки... Внезапно белесая муть прорвалась. Выступила темная береговая полоса. Сразу же засияло, заплясало на синей воде, зайчиками пробежало по стеклам капитанской рубки солнце. Вслед за ним целая эскадрилья чаек с криками спикировала на теплоход. И Лида проснулась. Конечно, принялась кормить прожорок. Увлеченно бросала вверх кусочки хлеба. Радовалась, когда чайки успевали схватить добычу на лету. Леонид Сергеевич тоже ловил в объектив интересные сценки.

Незаметно подошли к Тамани.

— Смотри, вон домик лермонтовской старухи, где было «нечисто»! — закричала Лида, указывая на бе-

лую мазанку под красной черепицей, что виднелась справа над краем обрыва.

Леонид Сергеевич улыбнулся, спросил:

— А крыша-то у старухиной хатки, кажется, была камышовая.

Лида расхохоталась. Дурачась, заговорила проникновенным голосом радиодикторши:

— За полтора века своего существования историческое здание неоднократно подвергалось перестройке, а в последнее десятилетие — капитальному ремонту...

И сразу вернувшись к обычному тону, добавила:

— Нет, правда, будем искать! Вдруг найдем что-нибудь интересное? Сообщим Ираклию Андроникову...

Сойдя на берег, Лида прежде всего выяснила, есть ли памятник Лермонтову...

— Как же, имеется памятник на взгорке, — ответила какая-то пожилая тетка.

Леонид Сергеевич приготовил фотоаппарат, поднялся по крутому булыжному въезду в скверик. И вот из-за густых шпалер желтой акации на него глянул... бронзовый бритый затылок под высокой папахой! Леонид Сергеевич прочел: Антон Головатый. Вспомнилось: во время войны гремел один Головатый — председатель колхоза. Он на свои личные сбережения покупал у государства и дарил летчику Еремину самолеты-истребители — яки. Кажется, три машины пожертвовал. Однако того звали Ферапонтом... Пока Леонид Сергевич рылся в памяти, Лида разобрала всю надпись на бронзовой плите. Оказалось: Антон во главе запорожцев первым вступил на таманскую землю.

Одно было непонятно: в сорок втором лейтенант Бахтин, конечно, не раз проходил мимо, а вот забыл

дурацкие стишки, выбитые на постаменте в честь Екатерины Второй, да и самого усатого казака...

Между тем Лида уже опять расспрашивала про домик Лермонтова. И потащила мужа к хатке, приглянувшейся им еще с «Пиона». Долго они шли по улицам, на которых не видно было даже следов автомашины. Пересекли широкую балку, что-то напомнившую... Но что?

Хозяйка белой мазанки ничуть не удивилась гостям. Приветливо объяснила:

— Был, был до войны музей. Стоял над обрывом сразу за библиотекой. Только немцы его сожгли. Сейчас на том пустыре хотят поставить бронзовый бюст. А здесь, против нашего дома, производились раскопки. Много нашли скульптуры, целый храм отрыли... Но вам надо вернуться. Пройдете мимо памятника Антону Головатому — спросите библиотеку. Вот за ней еще один домик и — пустырь.

Опять они спускались в ложбину. Внезапно Леонида Сергеевича осенило. Да, по этой балке на последних крохах бензина он подкрадывался тогда к аэродрому... Натянул нос мессеру, который рассчитывал поймать ишачка.

И сейчас вилась там тропка. Должна была прямиком вывести. Леонид Сергеевич оглянулся: улица пуста — спрашивать некого. Сделав таинственное лицо, он повлек жену за собой. Но Лида, как всегда, отбивалась:

— Зачем? Ты кого-нибудь увидел?

— Стадо идет... — нашелся Леонид Сергеевич.

Знал: одного упоминания достаточно — с детства на всю жизнь быком напугана. И добавил:

— Обойдем. Я помню проулок.

Лида перестала сопротивляться, только все обора-

чивалась. Однако балка кончилась, а он ничего не узнавал. Неужели ошибся?

И Лиду одолевали сомнения. Она спросила:

— Ты что-нибудь хочешь найти?

— Аэродром.

— Но кругом же виноградники?

— Возможно, чуть дальше...

— Зачем он тебе?

— Кое-что претерпел тут.

— А не рассказывал!

— Воспоминание не из приятных.

— Так лучше пойдем к бюсту Лермонтова!

Девушка, обрезавшая рядом гроздья, обернулась. Строго осведомилась:

— Что вы ищете?

— Поблизости аэродром был, с которого я летал во время войны... — неохотно откликнулся Леонид Сергеевич.

— Ну, об этом надо местных спрашивать. Мы здесь на практике.

«Никто тебя и не спрашивал», — посмеялся про себя Леонид Сергеевич. Понял: бедняжка не хочет, чтобы ее принимали за колхозницу! Однако появление приезжих все же было маленьким приключением, или просто предлогом для перерыва в работе, — студентки окружили их, засыпали вопросами...

— Вы не из Москвы?

— А на чем летали?

— Сильные были бои?

— Верно, что теперь истребители не нужны?

Леонид Сергеевич различал на лицах не только любопытство — внимание. Но Лиде явно не нравилось всеобщее участие... Девушки уже переговаривались друг с другом, звали кого-то:

— Вот наша бригадирша, наверно, знает.

— Тетя Настя! Давно эти виноградники заложены?

— А до них что росло?

Не по погоде тепло одетая тетя Настя тоже заинтересовалась незнакомыми людьми. Правда, с несколько иной стороны. Спросила:

— Вы, граждане, как сюда прошли-то? Посторонним не полагается промеж лозы находиться.

Пришлось объяснять, что хотели разыскать летное поле. Кстати, не помнит ли она, как в сорок втором при отступлении из Керчи тут садились такие коротенькие самолетики, словно бочки с крылышками?.. Не на этом ли месте был аэродром?

Тетя Настя смягчилась — войну не забыла!

— Верно, здесь он и угнездился, не тем будь помянут. По причине его нас сперва немцы бомбили, а в сорок третьем — от своих доставалось... Только нету больше бочек-то твоих с крылышками. Замест них, сам видишь, каку красоту ро́стим...

Да, он видел — следы войны повсюду стирались, исчезали. И в сущности, этому надо лишь радоваться.

На пустыре вместо бронзового бюста они нашли яму с ящиком из-под цементного раствора и пару лопат. Лида огорчилась. Леонид Сергеевич вернулся немного назад, сфотографировал доску на двухэтажном каменном здании с балконами: «Библиотека имени Лермонтова». И не удержался — мрачновато пошутил:

— Карточку сможешь послать Ираклию Андроникову. Все-таки в городе помнят автора «Тамани».

Потом они купались и загорали на великолепном пляже, обедали и, рискуя опоздать, мчались бегом к

пристани, где уже красовался белоснежный «Пион», задорно задрав свою акулью морду.

Палуба была почти пуста, море — спокойно, и дымка рассеялась полностью. Теплоход шел ровно, споро. Опять на Леонида Сергеевича нахлынуло. Он всматривался, стараясь представить себе далекий, нависающий карнизом берег...

— Что ты там видишь?

— Мыс Кут.

— А чем он знаменит?

— Чуть не вмазал в него, спасаясь от мессера.

— Это самое и «претерпел» здесь?

— Ну, мыс Кут — лишь малая часть.

— А целое?

— Крушение иллюзий.

— Нет, правда!

— Правда. От нее никуда не денешься.

— Тогда расскажи, я должна все знать.

— Боюсь, «все» — очень трудно, даже невозможно. Попробую, а вот сумею ли...

В тот день лейтенант Бахтин возвращался с разведки вдоль северного побережья Керченского полуострова над самой водой и так, чтобы его прикрывали береговые откосы. Знал: горючего мало. Но и лететь оставалось всего минуты три. К проливу он выскочил неожиданно для немцев. И мгновенно, и как-то необычно широко охватил взглядом всю картину.

Ведь когда шел в разведку, бойцы, прикрывавшие отступление, еще удерживали переправу. А сейчас — сами уходили вплавь на подручных средствах. От маяка, со стороны теперешней Жуковки, по ним били из

минометов, с берега строчили ручные пулеметы. Вода вокруг самодельных плотиков стояла торчком — фонтанами, фонтанчиками. К тому же вдоль пролива носились мессеры — стреляли... Один из них прямо перед носом разведчика как раз выходил из атаки — переламывался, собирался взмыть вверх. А под ним только что свалились с плота два красноармейца. Мелькнуло: «Его работа!» И лейтенант Бахтин не выдержал — довернул на немца своего ишачка, сразу нажал на гашетки... Очередь полоснула месса сбоку. Леонид видел: фонарь кабины сделался матовым — весь покрылся мелкими трещинками. Встречный поток воздуха раскрыл его — развернул рваным цветком белой гвоздики. Мессершмитт опустил нос, рухнул в море. А Леонид опять прижался к воде. Через косу Чушка проскочил почти над головами переправившихся бойцов. Они махали руками, один — даже рубашкой. Подумалось: «Не то поздравляют, не то предупредить хотят?» Тотчас сверху на Леонида спикировал второй мессер. Едва удалось уклониться — всплески его очередей встали на воде невысоким штакетником спереди и слева. Вот тут и началось! Месс нападал, а Леонид, думая о бензине, увертывался. Но как идти на посадку с таким «хвостом»? Следить за мессом было нелегко, ведь шел у поверхности моря. Чуть зазеваешься — сыграешь в подводную лодку! Вдруг тот исчез. Леонида словно кто-то дернул. Он взмыл, чтобы оглядеться... Месс, оказывается, снизился! Стремительно мчался за ним в двух метрах над водой. Уже догонял. Вот тогда-то лейтенант Бахтин и развернулся прямо на мыс Кут, рассчитывая, что успеет отклониться перед горой, а более тяжелый месс вмажет в нее по инерции, если пойдет за ишачком. Однако немец оказался опытным противником — он взвился, лишь пронаблюдал трюк раз-

ведчика. Леонид сделал крутой разворот в последний момент и пошел, прижимаясь к откосам, следуя всем изгибам береговой полосы. А мессер сопровождал ишачка поверху. Видно, понимал: тому раньше ли, позже ли, но придется взмыть над обрывами, чтобы выйти к аэродрому. Догадался, наверно, что ишачок возвращается с боевого задания, что горючего — в обрез. И спокойно ждал, караулил... Бахтин соображал: успеет ли отстегнуться, если винт станет? Ведь придется сесть прямо перед собой — на мелководье. Но тогда возможен полный капот, а удастся ли выбраться из-под перевернувшейся машины? И примеривал: на каком расстоянии от берега садиться, чтобы после опрокидывания не стукнуться головой о дно. Леонид был совершенно спокоен, только... аэродром его притягивал со страшной силой. Он крался вдоль обрывов, перебирая в памяти все подходы к летному полю. И дотянул до устья той балки, по которой провел сегодня Лиду на виноградники. Вдоль нее поднялся полого почти к самым границам аэродрома. А если б взмыл над откосами — месс обязательно подловил бы. Выйдя в открытую степь, Леонид тоже не стал рваться напролом — змейкой подходил на посадку. Немец, конечно, атаковал, однако мазал — змейка затрудняла прицеливание. И все же так не могло продолжаться без конца. Леониду пришлось «распрямиться». Враг тотчас снизился, чтобы расстрелять разведчика в хвост на последней перед приземлением прямой выдерживания. Заметив его маневр, Леонид перестал вихляться и... опять схитрил: не убрал газ, как полагается для посадки. Напротив — дал максимальные обороты. Мессер все равно догонял ишачка — быстро увеличивалось его отражение в зеркале. Он уже приближался к дистанции действительного огня, когда Леонид рискнул—

сделал у самой земли глубокий вираж. И тут помогли максимальные обороты — ишачок лег на крыло, консолью едва не касаясь травы. Но не провалился — мотор вытянул. Месс, куда более тяжелый, проскочил вперед, не посмел повторить маневр. А пока он взмывал, разворачивался для новой атаки, Леонид сбросил газ — стал садиться с ходу встречным курсом. Лишь тогда винт остановился! Впрочем, это теперь было даже на руку: с неработающим винтом машина быстрее затормозится! Леонид отстегнулся. Не дожидаясь окончания пробега, вылез из кабины, на ходу соскочил с крыла. И успел отбежать метров сто, когда мессер прошил ишачка первой очередью. Самолет не загорелся — в нем не оставалось и капли бензина. Только немцу никто не мешал — не было на аэродроме противовоздушной обороны. Убегая к укрытиям на краю летного поля, Бахтин слышал по реву мотора, что месс заходит вторично. И старался сообразить, кого он теперь выберет себе в жертву? Сам-то Леонид мог отпрыгнуть в последний момент. И вообще... летчиков в полку было куда больше, чем самолетов. Но то ли вражеский пилот это знал, то ли с немецкой аккуратностью хотел довести до конца начатое — снова атаковал ишачка. На этот раз, наверно, попались зажигательные — машина вспыхнула...

— И тебе ни разу не было страшно?

— Тогда не думал об опасности, — только о том, что делать. Должно быть, в такие минуты чувства летчиков отключаются.

— Этого не может быть!

— Ну пойми! В полете постоянно что-нибудь внезапно меняется. И надо мгновенно принимать новое

решение. Вот у летчиков и вырабатывается особая сноровка: быстрота реакции. Сначала мы ее развиваем в себе, выращиваем, совершенствуем. И вот — она уже сама нами управляет. В нужный момент автоматически выключает все, что мешает действовать.

— И ты нисколько не волновался?

— Я выхватил свой «ТТ», стал стрелять в немца, хотя знал, что моим пулькам не пробить бронестекло. Но дуэль не состоялась — мессер не выпустил ни одного снаряда. Должно быть, кончились у него боеприпасы. Он ушел. И тут меня затрясло с досады — погубил, гад, ишачка! Я понимал: остался «безлошадным»! И жалел ишачка, себя самого, бойцов, которые геройски удерживали переправу, а сейчас погибали в проливе. И я им уже ничем не мог помочь... Со всех сторон подбегали товарищи, мой самолет пробовали потушить, начальник штаба полка выскочил из землянки, что-то кричал издали: наверно, требовал к телефону — докладывать в штаб фронта результаты разведки...

А меня охватила оторопь, шагу не давала ступить. Понимаешь, это было мое первое поражение. До тех пор, несмотря на слабость ишачка, я выкручивался. Сбил пять немецких самолетов. И свыкся с мыслью, что я хитрее, нет — удачливее зазнавшихся, убежденных в превосходстве своей техники, заранее уверенных в победе немцев. Казалось, я всегда буду их обманывать, ускользать, нанося неожиданные, но смертельные уколы. Вопреки всей горечи наших потерь во мне жил дух победителя... «Лучше бы он убил меня», — думал я в ожесточении, со стыдом представляя себе, как, должно быть, смешно выглядело бегство по летному полю, эта нелепая стрельба из пистолета... Признаюсь, принимал неудачу за вину еще и потому, что

знал: не имел права вступать в бой, возвращаясь с разведки...

Однако никто надо мной не смеялся. Напротив, поздравляли: пост ВНОС сообщил о сбитом в проливе мессершмитте. И разведданные, которые я привез, оказались важными. Удалось обнаружить, что немцы отводят свою артиллерию и танки к Севастополю — значит, не собираются переправляться на плечах наших отступающих войск в Тамань. Мне даже приказали немедленно прилететь на кукурузнике в штаб фронта для личного доклада по карте. И я приободрился. Но отвратительное ощущение своей беззащитности осталось надолго... И позже меня сбивали — зенитка, мессер. Однако в сорок третьем драка шла уже на равных: наши яки ни в чем не уступали мессерам. Не было этого унижения собственной слабостью.

Здесь, в Тамани, я простился с наивной верой юности в свою неуязвимость. Да и пора было спохватиться — самообольщение многим обходилось слишком дорого. Но тогда казалось, что потерял главное! И чувствовал: нужно начинать жить по-новому. А как? Я не знал... Во всяком случае понял, что до тех пор просто везло, что дальше... не всегда будет везти. И что надо заранее быть ко всему готовым. Разыгрывать перед полетом возможные варианты, не ввязываться в бой, если горючего мало... Вероятно, под влиянием этаких оригинальных и глубоких мыслей я постепенно из лихача превратился в обыкновенного работягу...

— И летать стало скучно?

— Ну что ты! Наоборот. Я поднялся в летном деле на следующую ступеньку — поумнел. А скучать было некогда: ежедневно по пять вылетов.

— Ты же остался без самолета?

— Не надолго. В полк пришло пополнение, нас перебросили под Ростов...
— Всегда будешь вспоминать войну?
— Да, наверно.

Снова они бродили по Керчи, фотографировали. В поисках остальных девяноста девяти блюд из мидий опять забрались в «Дары моря». И, собираясь в кино, зашли перед сеансом к себе в номер. Леонид Сергеевич уселся в глубокое кресло посмотреть газету, но смысл прочитанного не доходил до сознания. С горькой усмешкой он еще раз вообразил себя в момент стрельбы по воздушным целям.

Тогда, убегая от мессера, Леонид внезапно остановился посреди летного поля, словно услышал вопрос: «Как ты мог позволить врагу залететь в мою Тамань?» И, не зная, что отвечать, ощущая свою беспомощность и бессилие, палил из «ТТ» в бронированный мессер. Все-таки лейтенант Бахтин стрелял по противнику...

Лида сказала:

— Ну, я готова, идем.

Отвернув край газетного листа, вопросительно взглянула на мужа.

— Признавайся, ты расстроен! Вчера весь день ходил по городу, будто потерял что-то или забыл. И сегодня... Ну, в Тамани не мог аэродром найти, а здесь?

Леонид Сергеевич принялся рассказывать о Викторе и Николае, об авиамеханиках... Неожиданно заметил — Лида помрачнела.

— Нет, я не могу понять: зачем мучиться воспоминаниями? Ну, еще если бы ты помогал чьей-то матери отыскать сына, жене — мужа. А так... Или тогда был счастливее, чем теперь?

Не пошли они ни в какое кино. Перебирая своих сверстников, которые со школьной скамьи попали на фронт, Лида повторяла грустно: «Убит, убит, убит...» И тихо закончила:

— Пожалуй, лишь Ваня и Димка выжили...

Они проговорили допоздна. И кажется, засыпая, Лида уже не ревновала мужа к прошлому... А Леонид Сергеевич, стараясь не шевелиться, чтобы не мешать ей, с удивлением и беспокойством спрашивал себя: «Действительно, разве я тогда был счастлив?» Никакой радости не вызывали в нем воспоминания. Но он все ищет... Нет, завтрашний день нужно провести на пляже — отдыхать. А вечером они уедут в Новороссийск, оттуда в Туапсе, может быть и дальше...

Он пытался представить себе темно-зеленое озеро Рица, гагринские пальмы и магнолии, пицундские реликтовые сосны, снеговые вершины над ними... Но по-прежнему мчался по заливу среди фонтанов и брызг небольшой катерок, и прыгали в воду и шли, не сгибаясь под бомбами, молодые летчики в новенькой форме, и выгребали через пролив на самодельных плотах красноармейцы, и мессер пикировал, и горел на таманском аэродроме его ишачок, и кто-то насмешливо-печально призывал лейтенанта Бахтина к ответу...

«А все-таки эти лейтенанты войну-то выиграли!» — возразил ему Леонид Сергеевич.

1967



САЧОК

Ну надо же! Лалетина в мае сорок первого перевели в Ленинград, и как только он прибыл на свой новый аэродром, первым встретил — Скачкова! Того самого — Сачка! Его еще два года назад в части Сачком прозвали за опоздание из летной школы. Он по окончании ее к родителям заезжал, да там вроде заболел — справку привез. Конечно, от других ребят с ходу отстал — они ведь вовремя явились и без задержек приступили к программе ввода в строй. А Скачков, мало что опоздал, еще и не сразу стал тренироваться — его самолет никак из ремонта не выходил. Он и выпросился у комиссара в Москву съездить — «для культурного развития». И пока машину чинили — чуть не ежедневно в театр, в музеи, на концерты... Ребята летают, он сачкует. Так к нему и присохла эта кличка — Сачок.

И позже он ее оправдывал. Норму по болезням за всю эскадрилью один выполнял. То живот у него расстроится, то горло сохнет — он голоса лишается.

Хотел ли Сачок умнее других быть? Вряд ли. Парень хоть и грамотный, но уж больно тихий. Ну, еще если его на политзанятиях или командирской учебе о чем-то спросят, он ответит. И всегда толково. Но чтобы сам... Молчаливый какой-то. Или иной раз ребята заспорят про книги, о картинах из Третьяковки... Сачок сидит, слушает, молчит. А зададут ему прямой вопрос — скажет, что думает. Иногда, правда, непонятно, зато уж непременно по-своему, ни на кого не похоже. И как-то само собой получалось, что ребята его в компанию не принимали.

Он к тому еще и невезуч был на диво. Обычно на бреющем молодые пилоты ходили над специально выделенными зонами. Утюжили воздух туда-сюда на высоте десяти-двадцати метров вдоль заливного луга. Мол, если мотор сдаст, всегда успеешь прямо перед собой на ровном месте сесть. Однако и Лалетину и многим другим случалось прижать машину пониже не только в зоне бреющих. Уж больно приятно на все сто скорость прочувствовать... где-нибудь подальше от жилья. Тогда ведь радио на истребитель еще не ставили, о радиолокации и понятия не имели. Никто художеств этих заметить не мог. Но все равно начальство о них догадывалось, только... поди, попробуй доказать.

А тут Сачок однажды возвращается с полета по маршруту, а у него загнуты концы лопастей винта! Сразу всем ясно: вопреки заданию ходил бреющим. Да еще не на десяти — небось в метре над землей! Вот и зацепил винтом за каменюгу или еще за что другое, сильно твердое... Хорошо еще носом не запахал.

Сачку двадцать суток «губы» — чтобы другим неповадно было. Он себе сидит, книжки почитывает (и без того вечно с книжкой), а начальство за молодыми пилотами специальный контроль учреждает. Теперь вместе с ними в воздух то командир звена, то отряда, а то и сам комэск поднимается. Проверяют, кто как выполняет задание. А ребята клянут Сачка.

Но вовсе не стало житья Сачку после вынужденной посадки. В те годы на ишачках еще стояли моторы М-63. Они нередко барахлили в сильные морозы. И Лалетину и даже старым опытным летчикам приходилось садиться с остановленным винтом. Однако Сачок умудрился не дотянуть до аэродрома всего несколько километров и плюхнулся на пригородные поля орошения! Конечно, зимой они заснежены — канав не видно. С воздуха поле как поле. И, наверно, Сачок до последней минуты надеялся приземлиться на своем аэродроме. Возможно, ветер ему расчет спутал: переменил направление или усилился.

Техники, которые потом доставляли в мастерские его машину, говорили, что сел он нормально. И на пробеге следы лыж шли точно по прямой. Да на его беду, к одной из канав метель сугроб намела. Ишачок в этот наддув и уперся носками лыж. Торможение внезапное и резкое на порядочной еще скорости. Скачков, конечно, как положено при внеаэродромной вынужденной посадке, привязные ремни отстегнул. Ну, его из кабины и выбросило — словно камень из пращи. Он только успел голову и лицо локтями прикрыть, как угодил в другую канаву. А в нее незадолго до того из канализации свежего теплого сусла спустили. Оно еще не замерзло, лишь корочкой льда затянулось. Скачков, понятно, весь в меху: комбинезон, шлем, рукавицы, унты — набрался пахучего этого добра по самую за-

щелку. Хорошо, канава не глубока была — вылез, хоть и здорово погрузнели его доспехи. Ну, куда теперь идти? Мокрому, вонючему — мороз ведь.

До поселка, пожалуй, ближе было, а все-таки Скачков к аэродрому потопал.

Как его там встречали, переодевали, как он в бане мылся, новое обмундирование получал — ничего этого Лалетин не видел. Да разве что-нибудь скроешь в бригаде? Смехуны разные быстро и всяк на свой лад раззвонили. Самого Сачка дня три-четыре, а может, и больше не было. Небось в лазарете отлеживался — проверку проходил на сотрясение мозга, трещины в костях, мало ли чего? Все же солидный удар получил.

Наконец пришел он на полеты во всем новеньком. А ребята от него — кто куда! Нет у них терпежа рядом с ним стоять. Еще и носы зажимают — запах им невыносим. Тут же ему и добавку к титулу сочинили — за... нец.

Комиссар стыдил, специально беседу провел с молодыми пилотами. Но смеяться не перестали. И Скачков подал рапорт о переводе на Дальний Восток. И просьбу его уважили.

Только как же теперь — в сорок первом — очутился он под Ленинградом? Нет, Лалетин не спрашивал, вообще виду не подал, что о прошлом помнит. Не отворачивался, нос не зажимал — руку протянул нормально. И Скачков весь расцвел — неужто боялся, что и здесь от насмешек спасу не будет?

Ну, поговорили о порядках аэродромных. Оказалось, Скачков сам недавно в полку, ни разу еще не летал. Рассказал, что часть безаварийная, по боевой подготовке держит первое место в округе; что есть среди

летчиков орденоносцы — побывали в Испании, имеют боевой опыт. Вообще-то Лалетин обычные вопросы задавал, но Скачков с таким восторгом отвечал, словно благодарил за что-то — аж неловко делалось.

Потом у них как-то нехорошо пошло. Лалетину командир полка дал на спарке один провозной полет и сразу выпустил в самостоятельный. А Скачков на первом полете чуть дров не наломал. Опять же понятно: с Дальнего Востока три недели ехал, да и здесь пока оформлялся — получился перерыв в полетах больше месяца. Не то что у Лалетина — пять дней. И летал там Скачков на чайках, от ишачков поотвык. А ишак, известно, много строже чайки, обращаться с ним надо поаккуратнее. Но главное: полк-то безаварийный! Вот командир и решил дать Скачкову не ишачка, а такую старую корову — эрзет. Скоростенка у нее под триста, горючего часа на три. В полку на ней таскали конуса для воздушной стрельбы. Раньше всем по очереди приходилось на ней летать, а тут радость — нашли постоянного пилота! Хотя Скачкову сказали: временно. И пообещали еще провозные дать, чтобы к переходу на ишачка постепенно подготовить.

Ну, ему бы каждый день командиру на мозги давить: мол, когда же на спарке полетим? А Скачков тихий, о себе напомнить не может, молчит. Провозные полеты с ним все откладывались. И начал Скачков снова от других отделяться. Снова за книжки взялся, принялся в санчасть заглядывать. Вскоре и здесь стали его Сачком величать.

Зато Лалетина ребята сразу с открытой душой приняли, за своего посчитали. Такие же оказались, как в его прежней части: веселые, открытые. А со Скачковым у Лалетина... О полетах не поговоришь — на разных типах летают, не те задания. О прошлом тоже

не вспомнишь. Так и получалось, что все реже и реже они якшались.

Еще тогда как раз стрельбы чуть не каждый день шли — где уж тут для одного пилота летную школу при боевой части открывать. Правда, стрельбы к половине июня закончили. Но вскоре (не то девятнадцатого, не то двадцатого числа) прибыл в полк инспектор из округа, да еще вместе с комдивом. И только они вылезли из машины, поздоровались... занадобилось Скачкову на посадку идти. Сел обыкновенно: ни хорошо, ни плохо. А на пробеге... Вот уже все тише, тише бежит эрзет, вот уже с начальством поравнялся... Да вдруг как развернется на них! Тут, понятно, кто куда — не ровен час, черепушку винтом смахнет! Инспектор споткнулся — упал. Командир полка его поднимает, бородой землю метет. Комдив Скачкову кулаком грозит. А тот, как ни в чем не бывало, вальс танцует, волчком на месте кружится. Полный вираж на земле сделал. Конечно, нижней плоскостью борозду вскопал — поломал консоль крыла. Ладно, хоть не пошел через голову кувыркаться — скорость была мала. А все равно поломка! Накрылось первое место полка в округе, с ним и премия за безаварийность...

После, правда, Лалетин слыхал, что не Скачкова тут была вина — тормоза отказали. Но разбираться уже некогда стало — война грянула!

Ребята словно с ума посходили. Один за другим рапорта подают — на фронт! Конечно, и Лалетин — тоже. Но всем отказ: нужны здесь — ну-ка немцы Ленинград начнут бомбить, кто защищать будет?

И в такой момент Скачков без машины остался (эрзет ремонтировать взяли в мастерские). И пуще прежнего притих, так что за хлопотами о нем вроде

позабыли. Да полковой писарь напомнил: оказывается, и Сачок на фронт просился!

Тут уж ребята на нем душу отвели — задразнили. Кто вдруг на палке верхом перед ним проедется — мол, на чем летать-то будешь? Кто пословицу вспомнит: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Кто ночью ему на койку повязку с красным крестом повяжет — намек на санчасть. Вместе с другими и Лалетин смеялся. Такое чувство было, будто Сачок своей просьбой причинил им всем кровную обиду.

А Сачок то ли понял, что невольным своим бездельем раздражает ребят, то ли в амбицию вломился — вовсе смолк. И даже старался на глаза не попадаться. Появилась в его повадке какая-то робость, словно бы он сам себя виноватил. Тут уж ребята перестали дразнить Сачка.

Да и не до того стало — начались налеты немецкой авиации на Ленинград, первые наши боевые вылеты, первые победы, первые потери... Вскоре фронт вплотную подошел к городу — опять Лалетин, как и все, позабыл про Сачка. Вспомнили о нем, когда от полка и половины не осталось: надо бы этого лодыря запрячь. Но как? В ишачка его не посадишь — требуются провозные полеты, проверка. А тренировочный истребитель УТИ-4 технари разобрали на запчасти для боевых машин.

Однако в такой обстановке любой на месте Сачка сам просился бы летать. В мастерских торопил бы ремонт эрзет, помогал бы технарям... Сачок же ходил пришибленный и молчал. Или с книжкой куда-нибудь в укромный уголок садился. Будто нет ему дела, что ребята из сил выбиваются, будто он только ждет, когда в полк новый УТИ-4 пришлют. Да ведь блокада, отрезан Ленинград от страны.

Вот тогда ребята, не сговариваясь, незаметно для себя просто перестали обращаться к Сачку. Словно он всем чужой, словно нет его в части. Так и дожили до одного сентябрьского вечера.

Теперь трудно Лалетину вспомнить, больше ли других он дразнил Сачка, резче ли от него отворачивался, если тот робко, бочком к нему подходил. Но того злосчастного осеннего вечера не забыть Лалетину никогда.

Он как раз улегся на нарах в землянке — недавно с ужина пришел. Правда, заснуть еще не успел. В углу на самодельной полочке горела коптилка — освещала передние стойки нар, стол, табуретки, пустующую железную койку командира...

А ребята уже спали — налетались до полной устали. Только Скворцов — могучий человечище — еще до нар не добрался. Присел к столу письмо написать. Однако, наверно, и строки не вывел. Голову на руки свесил, так и забылся.

Один Сачок по землянке вышагивал. Вечерами он всегда появлялся. Ни о чем не спрашивал. Если кто с задания не вернулся — сам видит, догадывается. Лишь иногда заглянет кому-нибудь в глаза этак просительно. Чаще других — Лалетину. Но и тут Сачка не баловали, редко случалось, что кто-то подтвердит: «Да, погиб Колька». И то не Сачку, а так — в воздух. И скорей на нары — спать.

Ну, Сачок походит немного туда-сюда по землянке — и вон из нее, словно там от себя спасается. Полночи место Сачка на нарах пустует. Ну, да что ему — днем отоспится.

А в тот вечер еще не ушел Сачок из землянки, как командир полка возвратился — неожиданно рано. Сду-

ру Сачок собрался было крикнуть: «Смир-но!» Даже воздуху в легкие набрал. И подполковник досадливо так на него шикнул и рукой показал: мол, спят же люди! Потом тихо сказал:

— Сведения есть, что немецкие корабли идут на Кронштадт. Нам приказано проверить одним вылетом. Значит, взлет и посадка в темноте. Ну, костры разложим, прикроем их сверху листовым железом, чтобы с воздуха не заметили...

Уже позже Лалетин сообразил: подполковник нарочно тихо говорил — надеялся, что кто-нибудь еще не спит, отзовется. Вот того и послать — стало быть, меньше других измочален. Хотя не мог командир не знать, каково ребятам приходится. С восьмого сентября — вторую неделю подряд — сам ежедневно по пять вылетов делал. И понимал: кого ни пошли, все у предела.

С нар Лалетину хорошо было видно: командир особо пристально уставился на Сачка. Лалетин удивился, а вместе с тем обрадовался — спросил себя: «Неужто Сачку очередь пришла?» И, наверно, Сачок тоже так подумал: глядел на подполковника собачьими глазами, как-то уж больно жалобно. Хотя должен был понимать, что если сейчас Лалетина или Скворцова послать, то завтра утром в графике дежурств на прикрытие города дыра образуется. И придется порядок ломать, у других полков подмоги просить...

И вот Сачок с подполковником молча взглядами обмениваются, а от стола голова поднимается. Вид у Скворцова обалделый, встает, аж пошатываясь. Но говорит спокойно:

— Я полечу!

Выходит, он хоть и крепко уснул, да как мать, когда спит, любой всхлип своего ребенка слышит, — проснулся, чуть про вылеты сказали.

Подполковник Скворцову ничего не ответил, продолжал Сачка рассматривать. И Сачок по-прежнему скорбно и даже вроде обреченно глядел на командира. Понял, видно, что его хочет послать.

Ну, теперь Лалетину о том трудно судить. А тогда самому вдруг захотелось встать и сказать, как Скворцов: «Я полечу!» Он, однако, сдержался. Вспомнил, сколько летунов в полку осталось. И что ни разу в эти дни Сачок не встал и не сказал: «Я полечу». И еще подумал: «Если мы со Скворцом сейчас полетим, то вряд ли дельно сработаем. Так уж лучше он — Сачок». И Лалетин не встал и ничего не сказал командиру.

А ребята, наверно, и вправду все спали — никто даже не поворохнулся. Но Сачок вдруг необычно резко оборотился в сторону Лалетина (стоял боком к нарам). И посмотрел — словно позвал! Может, дыхание услышал неровное — догадался, что Лалетин не спит? Нет, нельзя теперь Лалетину разные предположения строить, много воды утекло с тех пор. Только вот того взгляда горького, прощального не забыть ему никогда.

Тут командир перестал Сачка рассматривать, сказал, как и в первый раз — совсем тихо:

— На задание вам лететь, Скачков. Инженер полка доложил, что эрзет к полету готов. Ну, вы все же, как положено, мотор на земле опробуйте, проверьте связь, органы управления, шасси посмотрите... И у штурмана получите маршрут полета... А провозные вам, наверно, не потребуются, не на ишачке ведь?

И Сачок ответил тоже тихо и вполне спокойно:

— Так точно, товарищ подполковник, не потребуются. Разрешите выполнять задание?

И, получив разрешение, вышел. И опять Лалетину почему-то запомнилась его согнутая спина, как он наклонялся, когда из землянки вылезал...

Конечно, эрзет можно было и раньше починить, да разве на такой корове сунешься? Мессера в момент собьют. И видно, до получения ночного задания командир не нажимал на ремонтников — у них другой работы по горло было.

Не вернулся Скачков из этого полета. Говорили, взлет нормально произвел. И над целью вовремя появился. Даже успел по радио сообщить, что немецкие корабли обратно повернули — не решились на высадку десанта. Но затем смолк, ничего больше не передал. Просто не возвратился с задания. Многие тогда так же вот не возвращались, да и все тут.

Однако про Сачка в полку сочинили легенду. Будто немцы лишь после того назад повертались, как у них самый большой транспорт на воздух взлетел. И будто это Сачок его взорвал — с пикирования в трубу ему врезал. Но тогда получалось, словно Сачок по радио передавал о возвращении немецких кораблей как бы авансом — в тот самый момент, когда еще только готовился собой пожертвовать.

Не было никаких очевидцев гибели немецкого транспорта. Ни сторожевые катера, ни береговые посты не подтверждали легенду про Сачка. Возможно, его сбили, тяжело ранили, и он не смог ничего сообщить... А десант мало ли почему не состоялся...

Но даже если подвиг Сачка не легенда...

Одного только до сих пор не может себе простить Лалетин. Что не встал тогда, как Скворцов, не сказал: «Я полечу!»

Хотя все равно командир послал бы Сачка, конечно, он послал бы Сачка.

1972



ТРИ ПОЛЕТА ВИТАЛИЯ ГОРЕЛОВА

1

Вечером, после разбора полетов, лейтенант Виталий Горелов пешком идет с аэродрома в авиагородок. Надоело: все в машинах да в машинах — так и ходить разучишься. Или... просто ему нужно побыть наедине с собой, кое в чем разобраться? Вот отстранен от полетов на пять суток...

Всего каких-нибудь семь часов назад Виталий поднялся по приставной лестнице в кабину своего МИГа. Техник, стоя рядом на стремянке, помог Виталию пристегнуться привязными и парашютными ремнями, надеть кислородную маску. Потом осторожно снял предохранители с механизмов катапультирования и

аварийного сбрасывания фонаря, подозвал автопускач. Виталий едва удержался, чтобы не поторопить его.

Но вот уже Горелов включился в радиосвязь, получил разрешение на запуск двигателя. Техник вынул заглушку. Виталий нажал кнопку пуска и — тотчас впился взглядом в счетчик оборотов. По нему, еще раньше, чем техник успел крикнуть: «Есть пламя!» — узнал, что самолет ожил. И тут же на слух определил: двигатель работает устойчиво.

Да, Виталий любит этот ни с чем не сравнимый звук: высокий свист вперемежку с глухим, словно бы шмелиным жужжанием. Потом автопускач отъехал, и Виталий принялся за проверку рулей управления. Так он работал — казалось, весь был поглощен делом. Однако подспудно в нем продолжала жить чистая радость — предвкушение полета. А вместе с ней — какое-то смутное беспокойство. Может быть, оно связано с недавним случаем?

Вот тогда на шоссе... Неожиданно возник за поворотом — вначале показался темным, но сразу же вспыхнул в свете фар — огромный массив самосвала. И Виталий мгновенно весь внутренне сжался, собрался — и у самой кромки асфальта обошел махину, будто по молниеносно рассчитанной кривой погони догнал самолет врага. Только свист и грохот, запоздало ворвавшиеся в сознание, подтвердили: скорость его «москвича» была предельной для этой немыслимой фигуры автопилотажа. Зато какое упоение своей силой, зоркостью, ловкостью, — он вырвался из разворота на открытый простор шоссе! Войти в заведомо запретное, а выйти победителем — и с честью!

По радио лейтенант Горелов запрашивает и получает разрешение сначала на выруливание, потом на

взлет. Наконец взлетает. И еще успевает (в который уж раз) подивиться: «А сколько людей никогда не поднимались и не поднимутся в воздух, так всю жизнь и проходят по земле, не испытают радость свободного полета».

Как обычно, самолет, едва оторвавшись от взлетной полосы, начинает проситься, нет — прямо рвется в небо. Но Виталий неожиданно для себя самого — будто какой-то чертик вдруг в него вселился — прижимает машину к земле. Бреющим летит над уже давно слившимися в сплошную однотонность бетонными плитами, проносится над границей полосы подходов. Он убирает шасси, скорость нарастает угрожающе... Лишь у березовой рощи — далеко за чертой аэродрома — Виталий взмывает вверх. И, уйдя в почти вертикальный, пулевой, набор высоты, на мгновение оборачивается. И как бы печатает в мозгу на память ярчайший снимок: желтая вьюга — буйный вихрь золотых листьев, черная сетка ободранных ветвей, белая решетка стволов...

Только радость Виталия коротка:

— После посадки доложите о причинах нарушения в порядке взлета! — слышит он голос командира.

И отвечает:

— Есть доложить!

Через час лейтенант Горелов возвращается с задания уже без всяких посторонних мыслей. Посадка занимает его целиком. Лишь закончив пробег, позволяет себе подосадовать на самого себя.

После общего разбора полетов командир приглашает его в кабинет, спрашивает:

— Так что же это за взбрык был на взлете?

Виталий молчит, Неожиданно вспоминает:

— Сами же говорили: «Кто малых высот боится — трус!»
— Это не о пяти, о ста метрах сказано.
— И у меня не пять — пятнадцать было.
— Над макушками-то берез?
— Тут уж я вверх полез.
— А если б еще немного зазевался? А сколько горючего зря пожег? В сложной метеобстановке как раз могло и не хватить...

Виталий смущенно помалкивает. Командир продолжает:

— Отстраняю от полетов на пять суток. Достаточно будет времени, чтобы поразмыслить о своем взлете.

Виталий молчит, и после секундной паузы командир добавляет:

— Можете идти, товарищ лейтенант!

Да, это впервые командир полка ругал его...

Виталий не успевает далеко отойти от здания командного пункта. Кто-то хлопает его сзади по плечу. Оказывается, Углов догнал, спрашивает с ухмылкой:

— Чего спешишь, жена за два года не надоела?
— А если без балагана?

В конце разбора полетов старший лейтенант Углов в резкой форме заговорил о своем праве подавать в академию — шесть лет отлетал после окончания училища. Понятно, право правом, но командиру о личном, наверно, лучше с глазу на глаз, не обязательно при всех? И вообще... так не хочется сейчас выслушивать чьи-то жалобы. Виталий взглядывает на товарища. Да, похоже Углову что-то нужно. Может быть, он ищет участия, даже помощи? Вот уже начинает:

— Эх, не знаешь ты ничего!

— А что?

— Есть разговор, да здесь обстановка не располагает. И в общежитии, пожалуй, ребята помешают.

— В таком случае — давай ко мне.

— Нет, спасибо! У тебя жена, малыш. Лучше уж в столовой, пристроимся где-нибудь в тихом уголке...

— Пошли! — соглашается Виталий.

Некоторое время они идут молча. По узким проходам между молодыми березами вступают в колоннаду соснового леса. Виталий шуршит сапогами по скользкой хвое, по трескучей, ломкой листве. Пожалуй, больше других времен года любит он осень. Затянувшуюся, с пронзительными серебристыми утренниками, колкой травой, как бы подвяленной голой землей. И ясные холодные деньки — уже короткие. Вот и сейчас высоко над ним перекликаются гуси — «До весны, до весны!» А шел бы косяк чуть пониже, так и свист крыльев услыхал бы. Осенью всегда немного грустно, все живое затаивается, ждет...

Виталий задирает голову к вершинам сосен. А Углов спрашивает:

— Что? Похожи на ершики? Некоторые даже постерлись, словно ими долго бутылки мыли.

Они выходят из леса на тропинку, ведущую к авиагородку через поля. Заметно посветлело, и дорожка утоптана, идти удобно. Только обязательно — гуськом. Виталий доволен: можно не разговаривать, просто глубоко дышать вкусным осенним воздухом. К нему примешивается еле уловимый сухой хлебный дух разбросанных по стерне колосков.

Тропинка сворачивает вдоль длинного ряда буртов недавно убранной картошки. Здесь же лежит отволглая, уже гниющая ботва. Она резко бьет в нос горьковатой сыростью, словно бы кладбищенской. И кажется,

будто сама земля издает запах тления. Однако он почему-то приятен. Напоминает об охоте!

Виталий кричит идущему впереди Углову:

— Чуешь, отдыхающим полем пахнет?

Тот останавливается, оборачивается, отвечает небрежно:

— Очень мне нужно всякой вони радоваться.

Но после минутной паузы продолжает:

— Знаешь, пожалуй, большинство людей в наше время стремится не говорить прямо о важном. Боятся показывать свои чувства... Может быть, потому, что к услугам современного человека слишком много разнообразной информации. И слишком многое слишком легко дается...

— Особенно нам — летчикам! Что ни дальше, то легче.

— Ну, не будем кокетничать профессиональной ограниченностью. Посмотрим шире. Из-за неудачно выбранной специальности множество умных, талантливых людей не дают всего, что могли бы дать. А мы редко и робко пытаемся определить человеческие склонности с раннего детства.

— Ты-то тут причем?

— Видишь ли, я с малых лет больше всего интересовался людьми, всюду, где только мог, старался наблюдать, прислушиваться... Об авиации и не помышлял, увлекался поэзией. И сам стихи писал, и поэтические вечера посещал. Как раз тогда входили в моду. Ну, к концу девятого класса возомнил себя поэтом, забросил занятия, нахватал двоек. Тут отец и директор школы меня спасли, определили мой жизненный путь — в летное училище! «Уж там тебя человеком сделают!» А там... Ежеминутно я должен был что-нибудь «выполнять». И конечно, за минимум времени приобрел

максимум навыков и знаний. Но с подъема до отбоя не мог ни минуты побыть наедине со своими мыслями. А писать стихи на занятиях, в столовой, на собраниях, в полете — не умел. Мне нужно было заранее настроиться. Однако воображал: окончу училище, попаду в часть — вот там... Да, пожалуй, и теперь еще надеюсь: поступлю в академию, тогда...

— Напрасно надеешься. Везде будет жестко выдерживаться распорядок дня, никто не станет выделять слушателю время для занятий... поэзией! И правильно — на военной планете живем. Чуть зазевались — сожрут, не подавятся. А в отставку тебе рано.

— Как знать? Может, истек мой срок годности.

— Ты что? Болен?

— Болен не болен... странное со мной творится.

Углов вдруг сам себя обрывает, словно боится сказать лишнее. И продолжает, как бы встряхнувшись:

— Нет, я о другом. Вот ведь всем известно, что дети сближаются легко. Дружба молодых уже куда замысловатее. И вообще, чем люди внутренне сложнее, тем им труднее дается искреннее общение. В старости оно может быть ограничено подозрительностью.

— Ты не старик.

— И все же недоверчив. Потому что вижу: я — подлинный — никому не нужен. Близкие меня придумали — каждый на свой лад. И удивляются, обижаются или возмущаются, если ненароком проявляюсь. Еще бы! Я нарушил их представление обо мне! Значит, искренностью только делаю больно или злю — восстанавливаю против себя. Вот и приходится вести игру, навязанную их предвзятостью...

— И до сих пор ты не встретил людей, которые бы тебя не придумывали?

— Нет, почему же?.. Вот товарищи в полку... Но я все-таки ищу большей близости, стараюсь понять...

— Жениться тебе, наверно, надо.

Они замолкают — входят в столовую.

Внезапно Углов догадывается: он завидует Горелову — от того требуется лишь выполнение любимой работы. А чтобы писать стихи, надо полностью раскрываться, искренне, правдиво выражать себя. Поэту необходимы раскованность чувств, свобода мысли... Долг же требует от летчика собранности вплоть до замкнутости, отключения от всего постороннего. В полете или готовясь к нему, ты вынужден загонять внутрь все свои сомнения и надежды, чтобы целиком отдаться делу. Но постоянно тесня и сжимая собственное «я», невольно взращиваешь неуверенность в себе, наплывает безразличие. А тут эти проклятые видения... Как объяснить Горелову: болен, не болен. Можно рассказать врачу части. Только старик не поймет — одни указания санупра читает. Еще подумает, что сачкую, за медицину прячусь...

Столовая постепенно наполняется летчиками. Входит командир полка. И, кажется, впервые Углов замечает: длинное лицо подполковника сильно сжато в висках — словно обручем стянуто. Углов принимается подыскивать другие сравнения. Но ведь сейчас не вынешь записную книжку, а потом острота впечатления притупится, образ погаснет, ускользнет... И сразу отчетливой становится наивность подобных жалоб. Потому что когда человек одарен, то чаще всего — широко. Вот Сент-Экзюпери до конца своих дней летал и писал, летал и писал... Умудрялся быть одновременно замкнутым и раскрытым... Или тогда самолеты были проще?

А Виталий гораздо быстрее разобрался в неожидан-

ной исповеди Углова. Подумал: «Вся беда этого летчика поневоле в том, что он никогда не тянулся в авиацию. Да еще слабо брыкался, когда тащили».

Впрочем, Виталий не находит в положении товарища ничего трагического. Ну, раз человек считает, что как летчик он кончился, — поступит в академию. И, наверно, выйдет толковым инженером — парень не дурак.

С легким сердцем Виталий втягивается в общий застольный разговор о предстоящих полетах. Однако впервые не ощущает себя равным среди равных — ему же завтра не летать! Испытывает непривычную неуверенность: свои соображения о полете не сможет подтвердить своим же полетом. И кажется: его советы становятся легковесными, окружающие относятся к ним пренебрежительно. Весь вспыхнув, Виталий прерывает спор, выскакивает из-за стола, решительно направляется к двери.

А Углову вспомнилось было, как недавно проснулся среди ночи, схватил записную книжку. Но — не зажигать же свет в общежитии? Разбудишь ребят, начнут расспрашивать... Быстро оделся, на цыпочках вышел, стараясь не задеть чьи-нибудь сапоги, не натолкнуться на стул. Отправился через лес к аэродрому. Надеялся: возьмет у дежурного ключ от любого класса. И, подсвечивая дорогу карманным фонариком, ни на что не отвлекался — удерживал свой настрой. Но тут из глубины леса внезапно ухнуло пугающе-резко. А сразу вслед за тем кто-то крикнул отчаянно-жалобно. Может быть, филин поймал зайца? Вспыхнула досада на помеху. И тотчас представилось: до чего же трудно было тому далекому предку, который высекал на скалах свои рисунки. Ночью он не посмел бы один вылезти из пещеры. Даже если б хватило сил отвалить камень от

входа. Даже с кремневым топором в одной руке и факелом в другой. Тигры, медведи, волки могли его подкараулить. Люди выходили из пещер только группами, когда возникала общая необходимость. Не для творческих утех одиночек. И мастеру тех времен приходилось самому обрабатывать кремневые зубила, искать для несмываемой веками краски разноцветные камешки на дне рек и озер. И растирать их между самодельными жерновами. Никто не кормил мастера, не охранял его во время работы и поисков. Хотя он часто подвергался риску нападений, постоянно голодал. Искусство отрывало от сна и от любви... Каким же талантом, какой верой в себя должен был он обладать, чтобы все-таки создавать свое? Не мог иначе. А над ним смеялись тогдашние обжоры и невежды, его унижали, обделяли... Зато теперь он — выразитель целой эпохи, им гордятся!

Но собранность Углова распыляется жизнью. Ему ли мечтать об одержимости! То мать больна, то отец. И в общежитии — все время на людях. Бесконечные расспросы: «А что ты сейчас писал? Письмо? А кому? Не в стенгазету?» И все это из самых лучших побуждений, с готовностью посоветовать... Вот и приходится ночью бежать через лес, лишь бы побыть наедине с самим собой.

А он еще хочет академию взвалить себе на плечи! Мало отвлекающих факторов? Зато тогда можно будет из общежития в родительскую квартиру переехать. И главное — от своих видений освободиться! Он читал: они возникают изредка у летчиков-истребителей. И бороться с ложными представлениями надо лишь тем, у кого сильно развито воображение — так называемым художественным натурам. Но кто только сейчас не кропает стишков? Пожалуй, эти «видения» в полете

служат пока единственным признаком присутствия у него поэтического дара. Смешно и грустно.

Углов замечает, что Горелов встал, пошел к двери. И тоже поднимается, выходит.

Они молча идут по авиагородку. Нет, не удалось поговорить с Гореловым. Хотел прочитать ему кое-какие стихи. Казалось: так легко начать, вроде подходящий человек — может понять. Но, видно, не даром польский сатирик Ежи Лец посмеивается: «В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле».

2

Третий день Виталий дежурит на КП. И сегодня не торопится принимать смену оперативного дежурного. Планшетисты и штурман пока не приходили, летчики — на предполетном осмотре врача. Командир еще с каждым будет уточнять задание.

Отвлекает какой-то назойливый шум — не тарахтит ли где-то неподалеку мотор? Что за пыхтелка пожаловала? Черепашка или стрекозиха? По графику никто вроде не должен. Но то справа, то слева доносится. Кажется, кружит над аэродромом, не может сесть, треплет звук по ветру. Будто старый рваный флаг полощется, трещит...

Виталий прислоняется плечом к оконной раме, лепится щекой к стеклу — ловчится заглянуть вбок. Нет, не видно. Конечно, если подождать, машина когда-нибудь сядет. А вдруг пролетит мимо?

Стремглав Виталий скатывается по лестнице, выбегает на край летного поля. Наконец видит: чешет над макушками елей зеленый армейский вертолет, крутит своими крылышками дурацкими. Из-за его трескотни

Виталий не слышит, как сзади подходит командир полка. Подполковник спрашивает громко:

— Наголодался, так и на стрекозу приятно поглядеть?

Молча Виталий отдает честь. А командир добавляет:

— Полетишь сейчас ломаным маршрутом для проверки данных синоптиков. Говорят, теплый фронт идет. Грозу обещают. В октябре-то! Ну, ты близко к облачности не подлетай, с двадцати километров производи съемку экрана локатора. Маршрут и высоты уточни со штурманом. Все ясно?

«Сказать ему, как благодарен?» Но в голову лезут фразочки вроде: «Оправдаю ваше доверие!» И лейтенант отвечает четко:

— Все ясно. Разрешите выполнять?

Только командиру, кажется, не требуется особых выражений признательности. И так, наверно, видит. Не раз говорил: «Доверие лечит, когда его проверками не дополняют». Он отпускает Виталия просто:

— Выполняйте.

Предполетный осмотр своей машины Виталий производит безо всякой спешки — даже внимательнее, чем обычно. И не то что не доверяет технику. Любуется — дорвался. И небрежничать себе не позволяет: кто спешит на земле, отстанет в воздухе. Хотя ему, конечно, хочется поскорей взлететь, почувствовать, как послушно ходит МИГ за ручкой управления. Вот уже взбирается в кабину, с пристрастием оглядывает ее оборудование, арматуру...

А когда получает разрешение на взлет, отчетливо ощущает: пришла та спокойная уверенность, которая всегда сопутствует в полете и которой так не хватало ему в последние дни. Он дает полный газ, начинает

разбег. И принимает быстроту отрыва и вспухания как свое возвращение к летному образу мыслей и чувств, как возвращение к самому себе.

Но самолет словно на острие иглы — может крутануться куда угодно. И Виталий его обуздывает, направляет строго по прямой. Мелькает радостное изумление: «Как же я мог прожить без тебя так долго?»

И вот кругом него только небо — земля из-под самолета исчезла! Была тут, рядом. Город лежал за крылом весь ощетиненный, словно стволами зениток, нацеленный вверх круглыми дулами фабричных труб. Но сейчас куда-то далеко вниз провалился. Кажется меткой из крестиков на пестрой ткани лесов и полей. Онега с Ладогой сжались, сузились. И залив — просто небольшое темное пятно на скатерти. Как же быстро забывается это давно знакомое ощущение: после взлета земля буквально из-под ног уходит. И ты сразу остаешься один на один с небом. Счастливое одиночество истребителя!

Краешком глаза Виталий замечает: вдоль горизонта разлеглась пухлая облачная гряда. На ярко-синем небе она будто ледяной припай по северному берегу Онеги. Только эта снеговая цепь протянулась не там, где предупреждал штурман. С аэродрома, должно быть, не просматривается, да и лежит смирно. И на юге тоже что-то виднеется!

Виталий ждет, когда на обзорном локаторе появятся засветы от грозовых туч. Наконец в нижней части экрана возникает неправильной формы пятно. Виталий включает киноаппарат, сообщает штурману о начале съемки, определяет по направлению осей протяженность грозового фронта относительно стран света. Он будет продолжать полет параллельно границе двух воздушных масс, вдоль которых развилась эта опасная

облачность. Проследит за ней, находясь на почтительном расстоянии. И прежде всего постарается уточнить высоту ее верхнего и нижнего края. Ну, начали!

Виталий плавно вводит машину в пологий разворот. Избегает резких движений в стратосфере. «Запросто можно тысячу метров из кармана выронить», — посмеивается лейтенант. Но, конечно, нисколько высоты не теряет. Он проверяет себя по приборам. Да, порядок. И на курс вышел точно.

МИГ идет вдоль облачного фронта зигзагами. Время от времени Виталий подворачивает его носом к тучам — для съемки. И при этом все-таки к ним не приближается. Потому что теперь уже преднамеренно снижается. Ведь фронт наползает косо: в верхних слоях тропосферы он ближе к аэродрому, чем в нижних.

Впрочем, перед тем как уйти из стратосферы, Виталий осматривается — красотища! И бросает прощальный взгляд — до следующего полета — на эту страну облачных гор. Только та снеговая гряда на севере, кажется, немного сдвинулась к аэродрому? Ну да если что — штурман предупредит по радио.

Виталий забывает, как сам же подумал: ее с аэродрома не заметно. Забывает, что перед вылетом штурман о ней и не заикнулся. Весь уходит в определение вертикальной и горизонтальной видимости, характера и количества облаков в баллах. Следит за направлением их перемещения на разных высотах. И обо всех своих наблюдениях, обо всех изменениях в параметрах полета не упускает сообщить штурману.

Чем ниже спускается МИГ, тем он приятнее в управлении. Виталий наслаждается: все решительнее, все тверже ведет самолет. Чувствует: машина ходит за ручкой, за педалями, словно гончая на поводке. Она чуть ли не угадывает намерения летчика, готовно спешит их

выполнить. К нему окончательно возвратилась спокойная уверенность, хотя всего полчаса побыл наедине со своим любимым делом.

А вот Углов — какого удовольствия собирается себя лишить! Да, его желание уйти с летной работы попрежнему оскорбляет. И все равно — в академию или в поэзию. Пожалуй, Виталия охватывает нечто вроде ревности, трудно поверить, что твоя избранница кому-то не нравится, что ей могут предпочесть другую...

Продолжая снижаться, Виталий любуется живой картой, раскинувшейся под самолетом. Она покрыта пестрыми пятнами, словно бы ткань современной окраски. Но представить ее голой, мертвой, усеянной фиолетовыми грибами взрывов... Самолет-нарушитель? Лейтенант Горелов его собьет! Но это не подвиг. Долг, обязанность. И сколько глаз и рук, сколько разных приборов будут ему помогать! А подвиг — поступок, от которого можно уклониться, но ты не уклоняешься. Рискуешь, даже жертвуешь собой, хотя ни закон, ни мораль этого от тебя не требуют...

Неожиданно земля под ним затуманивается, меркнет. Нет, он не в облака нечаянно воткнулся. Видно, у подножия теплого фронта ветер резко усилился, потянул за собой подошву облачного хребта, слегка выпрямил косую стенку туч. Вот она и заволокла землю под самолетом.

— Топаз тридцать седьмой! Прекращайте выполнение задания, следуйте на точку! — доносится голос командира полка.

Виталий подтверждает получение команды, разворачивается к дому. Подстраивается на приводную, проверив ее по пеленгатору. И про себя удивляется: с чего это подполковник отстранил штурмана, сам взялся

за руководство полетом? Однако в тоне командира не чувствуется беспокойства. . .

Командир спрашивает:

— Как с горючим?

Виталий докладывает и тут же прикидывает: хватит не только до дому — до любого из соседей. А командиру трудно рассчитать по времени полета: расход керосина неодинаков на разных высотах. Проще спросить, чем сложные выкладки делать.

Уверенно Виталий идет по радиоприводу, посматривает на приборы, чаще всего на часы. Местность по мере приближения к точке все лучше проглядывается. Только там, где должен быть город, — мгла, дымка, муть. Едва поблескивают, скорее лишь угадываются свинцовые отсветы залива.

Виталий мысленно возвращается к последнему разговору с Угловым. Досадно, что тот, словно нарочно, насаждает в себе всяческие сомнения. Может быть, тут не в одной рисовке дело?

Но что Виталию эти литературные треволнения? Не вызывают они сочувствия. Другое дело полет! Здесь все интересно. Техника стала сложнее, а вместе с тем — безотказнее. Над ней господствует ресурс. Как в быту мы заранее сменяем ремешок, чтобы не потерять часы, так в авиации у всякой детали свой срок службы. Не успевает сноситься, уж ее снимают, ставят новую. И с Угловым также. Его перед каждым полетом всесторонне осматривает врач. А старик строгий: стоит летчику на любую безделицу пожаловаться — сразу от полетов отстранит. Значит, Углов здоров, если доктор его допускает.

Все эти мысли проносятся, пока Виталий работает на радиоприводе. Но вот вспыхивает сигнальная лампочка бортового маркерного приемника и в наушниках

раздается звонок — самолет прошел дальнюю приводную, вышел на последнюю прямую. И Виталий начисто отключается от всего, что не связано с посадкой.

Видимость заметно улучшилась. Виталий различает: авиагородок накрыла, погребла под собой та самая облачная гряда. Не рассеялась, никуда не исчезла, проклятая! Того и гляди летное поле закроет. Успеть бы!

Остаются считанные секунды. Но раньше, чем в наушниках раздается второй звонок — еще до прохода ближней приводной — фонарь самолета заволакивает белая мгла, и бешеная кутерьма снежинок принимается бесноваться вокруг.

Снеговой заряд вроде бы напрочь отгораживает летчика от всего на свете. Нет, Виталий слышит спокойный голос подполковника:

— Тридцать седьмой! Видите полосу?

Кажется, будто командир одновременно подсказывает: «Не зевай!» И Виталий дает газ, быстро убирает шасси, щитки — уходит вверх. Строго выдерживает машину в наивыгоднейшем режиме подъема. Мелькает: «Ну, влип!» Но тут же возникает надежда: «Не должна эта мура высоко подняться». И верно: лишь несколько секунд за фонарем суматошно пляшет пурга. Белая мгла разом обрывается — самолет словно распарывает ее своим носом. Виталий осматривается: чистое небо! Только под ним до самого горизонта переваливает через горы овечья отара. Животные сбились тесно, текут сплошной массой, клубятся, наползают друг на друга. . .

— Тридцать седьмой! Если высота позволяет, станьте пока в левый круг на тысяче метров. Попробуем посадить вас с применением цветных огней ночного старта и прожекторов. Как поняли?

— Вас понял. Встаю в левый круг.

Виталий догадывается: наверно, у самой земли снегопад еще слаб — позволяет сесть. И жалеет, что ушел на второй круг. Но вот уже снова доворачивает на посадку. Опять самолет погружается в неистовую снежную круговерть. А летчик безошибочно выводит его на глиссаду планирования. И тщательно выдерживает посадочный курс.

Командир подбадривает:

— Идете точно на полосу!

Строго сохраняя заданную вертикальную скорость, Виталий снижается вплоть до безопасной высоты, допускаемой системой. Однако ни самой посадочной полосы, ни окаймляющих ее цепочек цветных огней — не видит. И прожектора не помогают — их свет не пробивает снежную стену.

Виталий чувствует: еще мгновение — и надо приземляться. Но куда и как садиться? Он знает: именно в эти секунды замешательства летчики гробятся. Приказывает себе: «Все внимание — приборам!» И снова дает газ, сноровисто убирает щитки, шасси, — снова уходит вверх сквозь вьюгу. Одновременно слышит командира:

— Посадку запрещаю!

Конечно, испытывает облегчение: он правильно решил — наверно, метель внизу резко усилилась. Вдогонку командир приказывает:

— Ждите за облаками, в зоне номер три!

Третью зону Виталий представляет ясно: автоматический маяк стоит посреди мохового болота. Еще недавно женщины там клюкву собирали. Теперь болото замерзло — подходящее место для приземления с парашютом после катапультирования. А что остается?

Нет, он не хочет покидать машину в воздухе, губить ее. И опять перерыв в полетах...

Виталий настраивает приемник на сигнал маяка, становится в круг над болотом, которого не видит. Воображение рисует картину сближения двух фронтов: теплого, идущего с юга, и здешнего — холодного. Конечно, в точке их встречи образуется огромный вихрь. Воздушные массы с разной температурой и влажностью, с различной скоростью перемещения начнут кружиться, словно крылышки вертолета, пока, догоняя друг друга, не сольются. Пойдут дожди, снегопады, обледенения — спектакль на добрых трое суток. Не переждешь! Хотя давно известно: среди валов холодного фронта нередки просветы — разрывы. Не их ли хочет дождаться командир?

Виталий принимается разглядывать облачное море, а вместе с тем и приборную доску не выпускает из поля зрения. Обычно он не запоминает показаний каждого циферблата, пока непривычное положение какой-нибудь стрелки не заставит обратить на нее внимание. Но теперь чаще других попадается на глаза керосиномер. Виталий знает: пройдет еще пятнадцать минут и... Это же стыдно — покидать самолет в беде! Сжился с ним, сдружился — и вдруг только собственную шкуру спасаешь?

— Тридцать седьмой! Соседние точки пока закрыты. Если какая-нибудь освободится — дам курс. Ждите. Понятно?

— Все ясно! — отвечает Виталий.

И продолжает следить за поверхностью облаков, словно с горы смотрит на лавину. Наблюдает, как она катится, клубясь и бушуя, вниз — в долину. Может быть, при этом обнажатся голые склоны, с которых начинала ползти? И, наверно от долгого разглядыва-

ния, кажется: на севере возникло среди белизны темное пятно! По его краям облака завиваются, образуя крутящиеся валы... Они не поспевают за ритмом общего движения, отстают, будто гребни на верхушках волн, отрываются — и растаивают! Пятно все ширится, растет, приближается. Да, разрыв, просвет. И большой. И вроде подвигается к аэродрому...

Виталий сообщает командиру координаты, направление и примерную скорость перемещения просвета. Говорит, сдерживая радость, — не спугнуть бы! И так же — внешне ровно — подполковник советует заранее нырнуть в разрыв, вместе с ним продвигаться к летному полю, когда уже станет ясно, что тот его не минует. Неожиданно командир добавляет:

— Вообще-то смотри в оба, рисковать запрещаю!

Подполковник делает небольшую паузу и поясняет:

— Горючего хватит набрать высоту для катапультирования.

Виталий отвечает:

— Вас понял.

А сам думает: «Вот доверие командира. Конечно, и ему жаль машину. Но все же напомнил о катапульте...»

С этими легкими мыслями он ныряет в просвет. И видит летное поле! Однако, уже планируя, соображает: какое-то оно непривычное — чересчур ярко, прямотаки слепяще блестит под солнцем. И обычные аэродромные предметы словно бы изменили свои очертания. А главное, совсем по-новому смотрится приближение машины к полосе — ровность свежевыпавшего снега скрадывает глубину. «Недаром при переходе к зиме молодым пилотам дают провозные полеты с опытными летчиками на спарке»,— успевает еще слегка потщеславиться Виталий — он же без провозных вылетел! Но вот уже все его внимание, все мысли

поглощает посадка. Хорошо, что границы бетонки, сейчас слабо заметные под однообразным снежным покровом, отчетливо выделены цветными огнями. Без них Виталий, чего доброго, сполз бы с твердого покрытия. А так, притормаживая после посадки, катится точно между двумя цепочками по полосе. Далеко впереди и чуть справа видит тягач, поспешающий ему на помощь. Пробег кончается. Виталий осторожно подворачивает в сторону тягача. Асфальтовые подходы к полосе засыпало, замело. И он побаивается: не промахнуться бы при сруливании. Очутишься на грунте.

Но тут новый снежный заряд обрушивается на самолет с особой злостью, словно мстит за свою оплошку — верную жертву выпустил. Буран закрывает тягач, не видно и цветных огней. Чтобы не нарулить на них, Виталий останавливается. Тягач его еле-еле находит, долго буксирует к стоянке. А там первым навстречу бросается Углов! С необыкновенной горячностью хватает Виталия за руку, кричит зычно:

— Ну, поздравляю! Считай, тебе крупно повезло!

На КП командир приглашает Виталия к себе в кабинет. Спрашивает, глядя прямо в глаза:

— Видишь теперь, что значит горючее на взлете беречь? Как раз сегодня могло и двух литров не хватить. Хорош бы был?

Виталий смущенно помалкивает. В самом деле, весело бы получилось, если б не смог дождаться облачного просвета из-за нехватки горючего. Хотя разве неизбежен был этот случайный разрыв между снежными зарядами? И разве он обязан был пройти точно над аэродромом, да еще в подходящий момент?

А подполковник продолжает:

— Ладно. Ты сегодня молодцом. Попусту не юлил, на второй круг чисто ушел — не дергался. И просвет

вовремя поймал. И машину по струнке держал, сажал классно. За грамотные действия в сложной обстановке объявляю благодарность!

В мозгу Виталия некстати мелькают слова Углова: «Считай, тебе крупно повезло!» Они еще усиливают смущение. Однако лейтенант отвечает по-уставному:

— Служу Советскому Союзу!

3

Виталий готовится к ночным полетам на перехват — рассматривает различные варианты появления управляемой мишени. И прикидывает свои заходы на атаку, в зависимости от направления, с которого она покажется. Учитывает ветер, его влияние на скорость мишени и на условия перехвата. Вводит поправки для разных высот полета...

Вот только Углов все время пристает с разговорами. Не понимает, что Виталию сейчас не до чьих-то стихов. И сам Углов, наверное, к вылету не готов. Однако кладет на стол перед Виталием какую-то поэму, просит:

— Почитай.

Но Виталий даже на заголовок не смотрит. Отодвигает листки, отказывается твердо:

— После полетов.

И демонстративно погружается в свои расчеты. Казалось бы, яснее ясного показывает: отвяжись! Все-таки Углов не отходит. Дышит за спиной, переминается с ноги на ногу. Или наконец взялся за ум — заглядывает Виталию через плечо, знакомится с его выкладками, перенять что-то хочет? Нет, совсем ни к селу ни к городу спрашивает:

— Интересно, могут ли длительные перегрузки и неизбежное одиночество летчика-истребителя в ночном полете постепенно оказать влияние на психику?

— На твою, как видно, уже оказали — мешаешь заниматься.

— А если без шуток?

— Не волнуйся! Ученые-медики эту проблему изучают. Даже проводят по ней международные симпозиумы. И не считают временные обманы чувств, которые иногда возникают у летчиков и космонавтов, неизлечимым профессиональным заболеванием. А ты что?

Углов не отвечает. Поворачивается, уходит. Обиделся?

На стоянках, как обычно — деловито и быстро, проходят последние приготовления. Кое-кто из летчиков уже и гермошлем надел. В зашнурованном противоперегрузочном костюме особенно браво выглядит Горелов. Так и рвется из него нетерпеливая молодая сила, веселая неутомимость, радостная готовность...

«Современные рыцари! — посмеивается Углов. — Конечно, они должны мчаться впереди войска, всегда согласны на любой подвиг, презирают смерть... И доспехи из лавсана и льна способны выдержать нагрузку в двести раз больше собственного веса летчика. Куда средневековым латам!»

Но он сразу себя одергивает: у самого разве не такой же вид? И разве среди рыцарей средневековья — одни Неистовые Роланды? А истребители разве не рядовые солдаты? Никем, кроме своей машины, не командуют. И в войну вступят первыми — чтобы отразить внезапный налет врага. Возможны ли у кого-то из них отношения со своим конем-самолетом в стиле

Ильи Муромца: «Что ж ты, несытая тварь, спотыкаешься?» И знакомы ли кому-нибудь предполетные опасения в стиле старшего лейтенанта Углова? Может быть, следует все-таки сейчас, пока не поздно, сказать врачу: «Не могу летать!» Как бы ни трудно было признаваться... Но если Горелов прав и все эти видения в полетё даже нельзя назвать профзаболеванием? Просто воображение сильно развито. Тогда и врач ни к чему. Ну, еще усталость... Нет, дотянуть до весны, уйти в академию. А скажешь — сочтут трусом, в сачковании заподозрят.

Внезапно Углов вспоминает: командир предупредил, что перехватывать придется не буксируемую самолетом, а свободно летящую радиоуправляемую мишень. И она недолго будет в воздухе. Прозеваешь — пеняй на себя! Однако первым на выполнение трудного упражнения назначил его. Ревнивое чувство спортсмена охватывает старшего лейтенанта. Но, поднимаясь в кабину самолета по дюралевой стремянке, Углов вдруг начинает считать ступеньки — показалось нелепым, что до сих пор не знает их числа. Никогда даже приблизительно не прикидывал, хотя, наверно, прошагал по ним вверх-вниз не меньше тысячи раз — за шесть-то лет!

Углов забирается в кабину, надевает парашют, пристегивается с помощью техника ремнями к сиденью, проверяет приборы, радиосвязь...

По радио Углов запрашивает, как положено:

— Разрешите запуск?

И, получив «добро» от командира, включает двигатель.

Снова Углов спрашивает:

— Разрешите вырулить на старт?

И рулит к взлетной полосе. Получает разрешение на взлет. Взлетает. Вот уж бетонные шестиугольники сливаются в сплошную полосу. Давно выработанным жестом летчик поднимает переднее колесо, увеличивает угол атаки крыльев и отрывает машину от земли. Тотчас самолет, как бы сам собой, взмывает в темное небо. Земные огни быстро удаляются. Потом внезапно пропадают — машина стремительно пробивает облачность. И так же — все вдруг — где-то высоко над ней вспыхивают звезды.

Да, с этого всегда и начинается великое одиночество летчика-истребителя в ночи.

Лишь изредка до старшего лейтенанта доносится спокойный голос штурмана наведения. Автоматически следуя закону: «Пока не видишь цель — делай, что приказывает Земля», — Углов доворачивает самолет на подсказанный штурманом курс. И включает автопилот. Про себя отмечает: слева и чуть выше ярко сияет Северная Корона. Значит, при возвращении на аэродром его любимое созвездие должно оказаться справа.

Теперь остается только ждать новой команды штурмана. Получив ее, он заранее включит самолетный локатор, чтобы прогрелся. И тогда — уже с его помощью — будет преследовать цель самостоятельно. Но не самое ли трудное в этом полете — ждать?

Углов следит за высотой, скоростью и курсом, оглядывает другие приборы. Даже на белые лепестки индикатора подачи кислорода посматривает — пытается отвлечься.

Хотя ему только это и остается. Ведь он прекрасно знает: ожидание приводит за собой иллюзии. Вот и сейчас... начинает казаться, будто за спинкой сиденья... Да, с каждой секундой ощутимее чье-то присутствие. Поскорее бы штурман подал команду.

Наконец команда подана, и Углов включает локатор. Но пока тот прогревается — опять ждать?

К счастью, ожидание не затягивается.

— Цель в пределах дальности, прямо по курсу и три километра выше, — доносится с земли по радио голос штурмана.

Углов понимает: нужно переходить к самостоятельному перехвату мишени, используя самолетный локатор. И ни на что больше не обращать внимания. Теперь уже поздно признаваться: выполнению задания мешает присутствие на борту постороннего. К тому же эта картина еще не совсем прояснилась. А когда на экране радиолокационного прицела вспыхнет белой звездочкой отметка цели — томительное ожидание сразу прекратится. Начнется работа: слежение за мишенью — собственно перехват. И не надо будет поджидать команды штурмана — Углов сам вступит в действие. И реальные впечатления заслонят образы, вызванные игрой воображения. Не раз он от своих видений в полете защищался работой. А сейчас, пока их появление едва-едва намечается, Углову достаточно обернуться — и станет очевидно: сзади никого нет.

Он быстро поворачивается и действительно убеждается — даже удовлетворенно хмыкает. И возвращается в исходное положение. Просто надо перестать думать о «присутствии». Лучше уж в своих стихах разобраться. Все-таки не о самом главном в них пишет. Людей ежедневно и ежечасно волнует любовь и смерть, разные формы угнетения и борьба против него. Угроза ядерной войны висит над несчастным родом людским...

Углов отвлекается — взглядывает на приборы. И снова уходит в свои раздумья.

Или взять хотя бы самый общий конфликт: ищу-

щий человек нередко встречает непонимание у привычно плетущихся по колее. Но Углов не касается ничего этого в стихах. Как на параде, летит в строю литературных условностей. А не напрасно ли тщится старыми средствами изобразить сложность внутреннего мира современного человека? Если бы заменить слова живой мыслью, образом, чувством, переданными прямо от человека к человеку... Создать этакую избирательно направленную телепатию! Тогда можно было бы выражать правду, обходясь без затасканной дипломатии затасканных слов.

Внезапно Углов запинается. Размечтался, а сам-то кто? Автор двух десятков стихотворений. Настоящие художники всю жизнь мучились словом, но оставались жить в веках. И разве исчерпаны все глубины мысли и чувства, все необходимые для их выражения сочетания слов? Нет, довольно! Пора заняться делом. Скорее нагнать цель, поразить ее... Но прежде всего не забывать про локатор!

Углов обегает взглядом приборную доску, однако вместо того чтобы заниматься наводкой — необычайно быстро откидывается на спинку сиденья. Успел вовремя заметить: приборная доска угрожающе качнулась. Чуть не ударив его по голове, снова коварно встала в исходное положение. Неужели тот, кто сзади, попытался разбить летчику гермошлем? Нет, Углов сознает: доска накрепко привернута к стенкам кабины, ее нельзя так быстро отвинтить. Да и как за нее пробраться? Под обшивкой или под полом кабины? Но тогда тот должен был бы уменьшиться до размера мыши — смешно.

— Семнадцатый! — снова слышится голос штурмана. — Прекращайте набор! Цель прямо по курсу, дальность двадцать.

Ну вот — вся эта нелепица отодвигается. А вместе с тем ему кажется, будто бы пока самолет кабрировал — набирал высоту с задранным вверх носом — могло создаться обманное впечатление падения приборной доски. И все же Углов испытывает огромное облегчение — надеется, что сноподобное помрачение действительности начисто с него спало. Он отвечает штурману и переводит машину в горизонтальный полет. Усердно следит за то вспыхивающей, то гаснущей слабой искоркой на экране. Может быть, слишком слабой? Нет, он понимает: на первых порах локатор прицела лишь изредка достает своими лучами до цели. И верно: вскоре отметка мишени на экране загорается вполне устойчиво, хоть и по-прежнему еле заметно.

Тут Углова вдруг озаряет догадка: он выключает освещение приборной доски. Темнота ночи расплывается по кабине, и тотчас резко усиливается яркость сигнала. Отметка цели выглядит уже звездочкой не шестой-седьмой величины, а по крайней мере — четвертой. Углов косит глазом в сторону Геммы. Конечно, альфа Северной Короны куда ярче его «звездочки». Однако по блеску сигнал цели вполне сравним с другими светилами созвездия. А они — четвертой, даже третьей величины. Углов утверждается в победе реальности. Торжествуя, он то и дело переводит взгляд с экрана на небо и назад опять на экран. Сопоставляет яркость отметки мишени со все новыми и новыми небесными телами. От этого мелькания экран постепенно как бы вписывается в общую картину звездной ночи, кажется частью Млечного Пути.

Теперь Углов все внимание сосредоточивает на этом экране прицела. И не боится прозевать предупреждение какого-нибудь важного прибора об аварийной ситуации. Знает, что вспыхнет сигнальная лампочка

и прибор как бы попросит: «Взгляни на мой циферблат!» Тогда Углов успеет включить освещение приборной доски, разобраться в показаниях закричавшего прибора. Только над авиагоризонтом никакая лампочка не зажжется... Ни на что другое он не отвлекается — неотступно преследует радиоуправляемую мишень. Скорее бы догнать ее, поразить своими ракетами! Углов работает напряженно, азартно, словно настоящий самолет противника перехватывает.

Неожиданно отметка цели начинает метаться! По экрану прицела? Или, выскочив из него, — уже прямо по небу?

Углов понимает: этого не может быть. А все-таки... Попробуй поймать белую звездочку отметки среди тысяч таких же настоящих. Кажется, будто в радиоуправляемую мишень забрался живой пилот и «самолет противника» сознательно пытается сбить Углова с верного курса.

Стараясь не упустить цель, старший лейтенант доворачивает свою машину. Теряя и снова находя между похожих светил отметку радиоуправляемой мишени, он по-прежнему неотступно гонится за ней. Хоть это и нелегко. Ведь, чтоб избегнуть больших перегрузок, Углов должен очень плавно работать рулями — не создавать больших кренов. А штурман все время кричит, требует изменения курса... Будто Углов давно с него сбился, будто просто кружит над городом. Штурман даже позволяет себе ехидничать: «Уж не за звездами ли вы там гоняетесь?» А что, если по указанию командира полка нарочно усложняет выполнение задания? Но летчик обязан слушаться команд с земли, лишь пока сам не видит цель...

«К черту штурмана!» — решает Углов и отключает радиосвязь. Он потом опять включит ее. Когда догонит

и собьет цель. А сейчас белесая звездочка — отметка радиоуправляемой мишени — вот она, прямо перед ним! Мерцает призывно и таинственно... Нет, пожалуй, вон та — чуть правее... Углов снова доворачивает машину.

Только не пора ли ему по времени уже настичь эту проклятую мишень? То есть приблизиться к ней на дистанцию выпуска ракет. Или командир еще и скорость учебной мишени каким-то образом увеличил? Вряд ли. Рулями ее можно управлять с КП, а двигателем — нельзя. Скорость-то постоянная. Вот разве что не цель убегает, а самолет Углова замедлил погоню? «Кто-то» незаметно уменьшил подачу топлива...

Углов чувствует: в него опять властно вторгается знакомое ощущение призрачности полета. Словно не наяву летит он на перехват. Снова отчетливо возникают признаки «присутствия». Теперь уже не за приборной доской. Кажется, за спинкой сиденья стоит неясный, тянет за собой неуверенность.

Добросовестно Углов старается отогнать наваждение. Это же не галлюцинация — просто игра воображения. Ложные зрительные или слуховые представления. Они свойственны детям, художественным натурам... Однажды Бальзака нашли лежащим на полу без чувств. Едва придя в себя, великий писатель на вопрос: «Что с вами?» — ответил: «Умер отец Горио!» Перед обмороком Бальзак как раз закончил описание смерти своего героя.

Но трезвое напоминание плохо помогает. Не проходит какое-то странное замешательство. И ощущение постороннего присутствия — не исчезает. Не удается отделаться от нелепых подозрений... Что, если «тот, кто сзади», все же убавил тягу двигателей? Вот истре-

битель и не может догнать мишень. Чудится: рука протянулась из-за спины Углова, частично перекрыла топливный кран... Хотя любой пилот в этом случае услышал бы изменение звука. А Углов вроде ничего не замечает.

Все-таки левая кисть старшего лейтенанта сама собой притягивается к топливному крану, ощупью находит его. Нет, кран открыт правильно, стоит недвижимо. Может быть, закрылки не убраны полностью? Но и тут все в порядке. Кисть летчика виновато возвращается назад, растерянно ложится на правое колено.

Секунду или две Углов приходит в себя, отдыхает. И вдруг кто-то маленький, упругий и теплый — живой! — вползает в его доверчиво раскрытую ладонь. Мгновенно и со страшной силой Углов сжимает кисть. Сквозь перчатку ясно ощущает пульсацию крови, трепет тела — непонятное существо бьется, пытается вырваться: птичка! Перед вылетом залезла на ночевку в кабину самолета? Нет, технари во время предполетного осмотра прогнали бы... И он так сдавил ее — никакой пичуге не выдержать. А эта того гляди высвободится!

Углов еще крепче — с внезапным бешенством — стискивает пальцы. Резким рывком старается переломить через колено, вывихнуть локоть врага. Но то, что он держит, словно бы без костей — гибкое, только гнется. Щупальце?

Углов не успевает осмыслить происходящее. Нечто мягкое, огромное и тяжкое наваливается, невыносимо давит на спину, взбирается по плечам... Кажется, уже всего обволакивает, прижимает к сиденью, клонит шею — подбородком вдавливает гермошлем в грудь. Углов обеими руками пытается сбросить с себя эту мерзость — отпускает и щупальце и штурвал. И, зады-

хаясь от напряжения, силится крикнуть... Но издает лишь слабый стон.

Неожиданно он избавляется от гнета. Гнусное начисто пропадает. А самолет все идет за отметкой цели — или же за звездой? По-прежнему прозрачная темнота неба сливается с густой тьмой кабины — отовсюду окружает летчика. И, как раньше, равнодушно и скупо сияют в ней звезды четвертой и пятой величины. И не то среди них, не то на экране локатора горит точно такой же огонек сигнала.

Углова берет оторопь. Никогда еще подобного с ним не случалось. Никогда его видения не лезли сами в руки, не давили. Никогда еще не проверял он их на ощупь. И он же твердо знает — никого, кроме него, в кабине нет. Знает: появление всех этих нелепых, неизведанных ранее ощущений вызвано лишь обострением кожной чувствительности к изменениям температуры и давления. Из-за длительного пребывания в противоперегрузочном костюме. Да и прежние иллюзии не складывались бы, если б не монотонность полетов, не одиночество летчика. Особенно ночью... Не бывает же на земле никаких видений. Не лезут в руки никакие птички, щупальца. Никто не обволакивает, не давит, не прячется за креслом, за стулом. Или он и до этого еще дойдет?

Нет, надо все-таки рассказать врачу. Тот назначит другой номер противоперегрузочного костюма... Только придется объяснять, почему стонал.

Тут Углов вспоминает: он же выключил связь. И на кнопку передатчика не нажимал. Да и стонал ли на самом-то деле?

Опять зловещая неуверенность начинает овладевать летчиком, опять появляется ощущение призрачности полета. И немедленно за спинкой сиденья... Нет,

он не должен об этом думать! Он уйдет с летной работы, поступит в академию...

«Но прежде всего надо сбить мишень!» — успевает еще приказать себе Углов.

Однако сразу же отвлекается. Чудится: «тот, кто сзади», перебежал под обшивкой, снова затаился за приборной доской! Не потому ли, что летчик обернулся? А если во время этой беготни «тот» нечаянно или нарочно заденет шершавую красную скобу катапульты? Выбросит пилота из машины...

Нет, невозможно привыкнуть к «тому, кто сзади», не обращать на него внимания, сосредоточиться. Стоит попристальнее вглядеться в экран локатора, чтобы определить, не уменьшилось ли расстояние до мишени, как уже кажется: «тот» перебегает к спинке сиденья. А когда Углов оборачивается — тотчас перемещается за приборную доску. И снова грозит обрушить ее на голову летчика. Все время чувствуется его присутствие. А вместе с тем тревога, беспокойство, тоска...

Внезапно что-то меняется, наступает облегчение, гнет спадает, быстро улетучивается смятенность чувств. Прояснение сознания напоминает пробуждение после лихорадочного бреда.

Боковым зрением Углов замечает: к нему пристраивается истребитель! Вот откуда пришло избавление: он больше не одинок! Самолет идет рядом. Горят его бортовые навигационные огни, ярко освещена кабина. Сквозь фонарь Углов различает лицо — ну конечно, Горелов! И тоже включает у себя свет, навигационные огни... А Горелов почему-то прикладывает левую руку к гермошлему. И тут же опускает — словно честь отдает. Вспомнил, что у него на погонах одной звездочкой меньше? Смешно.

Машинально левая кисть Углова тянется к виску.

Но он сразу спохватывается: никто не приветствует сидя, да еще левой рукой! И догадывается: Горелов хочет показать, что Углова не слышат на КП. Видно, командир полка послал Горелова.

Углов включает радио, нажимает на кнопку передатчика, докладывает:

— Товарищ подполковник, при выполнении упражнения номер...

Однако командир его перебивает:

— Следуйте за лейтенантом Гореловым на точку. Повторите приказание!

Углов повторяет, пристраивается к Горелову. И уже гораздо мягче командир спрашивает:

— Как чувствуете себя?

— После встречи с Гореловым — нормально. До того, под влиянием иллюзий, ложно представлял себе действительность.

— Теперь сможете работать спокойно. При подходе к точке, над восьмой полосой полигона сбросьте ракеты на «невзрыв». Как поняли меня?

— Вас понял.

Да, сопровождаемый Гореловым, Углов вовремя ставит ракеты на «невзрыв», вовремя их сбрасывает и благополучно, вслед за Гореловым, сажает самолет. Только... Он почему-то испытывает странное сожаление: будто напрасны были все его попытки, будто кто-то ему в чем-то помешал; или он сам чего-то так и не постиг, не проник во что-то, так и не подобрал к чему-то ключа...

Конечно, он благодарит Горелова, но — устало, без воодушевления. Хочется поскорее лечь, заснуть...

И командир полка сразу же отпускает старшего лейтенанта, освобождает его от участия в разборе полетов.

По дороге домой Виталий раздумывает: сказать ли Маше о сегодняшнем? Волновать среди ночи? Но ведь все равно узнает. Так, может быть, лучше сразу?

Делается легче на душе, когда он видит: в их окне нет света. Он осторожно открывает дверь, на цыпочках входит в комнату. На ощупь зажигает настольную лампу. Старается не шелестеть, пристраивает к абажуру экран из плотной бумаги. И садится так, чтобы не загреметь пружинами дивана.

Виталий испытывает какое-то гложущее нетерпение поскорее и обязательно наедине с собой осмыслить происшедшее. Несчастный случай? Конечно, никто не виноват, что Углов вдруг рехнулся. Штурман доложил: «Связь с Угловым прервалась!» Рассказал, как тот уже несколько минут нелепо меняет курсы, кружит над городом... И командир полка сразу взялся за наведение, перенацелил Виталия с перехвата мишени на Углова. Сказал: «Похоже, он сам отключился».

Углов всегда был если не блестящим, то вполне надежным летчиком. Все учебно-боевые задания выполнял не ниже, чем на «хорошо». Или все-таки не «вдруг» спятил? Пусть не прямо, а намекал: о сроке годности, о влиянии перегрузок... Казалось, все время чего-то ждал от Виталия. Но это только раздражало. Как и его манера говорить, его увлечение стихами... Да, не были их отношения близкими — лишь касательными...

Виталий откидывает голову на спинку дивана. Нет, иллюзии Углова — не душевная болезнь. Стоило их самолетам оказаться рядом, как Углов заговорил вполне здраво, даже понял, что до того ложно рисовал себе действительность. И тут же сам перестроился — стал правильно поступать. А душевнобольные на это не способны — слишком заняты собой, своими «идеями».

И, наконец, если бы Углов сошел с ума, разве мог бы так сильно пилотировать? Крутился, как пес за собственным хвостом в приступе «вертячки». Крены закладывал чуть не больше максимально допустимых. Перегрузки давили, но он выдерживал. Страшно трудно было подойти к нему на разворотах. Если с внешней стороны — приходилось намного увеличивать скорость: возникала угроза проскакивания. Да и вряд ли Углов заметил бы приближение другого самолета извне — ведь на развороте обычно смотришь вовнутрь. А войти в круг изнутри — еще опаснее. Вираж надо делать с меньшим радиусом — с недопустимо большим креном. Достаточно миллиметрового неловкого движения рулями, чтобы столкнуться...

Вот и пришлось ловить момент, когда Углов хоть ненадолго выйдет на прямую. И все же удалось поймать. Шел чуть ниже — смутно видел на фоне звездного неба силуэт угловской машины. И главное — огненный выхлоп газов из сопла двигателя. Конечно, по этим признакам потруднее ориентироваться, чем днем и на прямолинейном курсе... Но, возможно, более опытный летчик быстрее перехватил бы Углова? Например, командир полка... Нет, никто не стал бы рисковать столкновением. На месте Виталия каждый ожидал бы, пока не прервется «вертячка».

Виталий снимает сапоги, гимнастерку. На носках подходит к постели. В полутьме сначала кажется: Маша не спит — читает. Длинные ресницы то и дело вздрагивают. И подушка так поддерживает правую щеку, что голова полуприподнята. И согнутая в локте правая рука ладонью подпирает подбородок. А губы ослабли, раскрылись — придают лицу удивленное выражение. Словно и во сне она захвачена своим любимым занятием. Ну конечно! На полу под кроватью

книжка — выронила, засыпая. Это детское в жене — открытое и беззащитное — как всегда наполняет его нежностью.

— Ты пришел?

Она подвигается к стенке и тут же снова засыпает. Виталий раздевается, осторожно укладывается. Но сам заснуть почему-то не может.

Неожиданно Маша шепчет:

— Слышу, что не спишь. И какой-то смутный...

Нет, не хочется говорить сейчас о «вертячке». Виталию жаль Углова — летчиком ему больше не бывать. А какой еще из него поэт выйдет... Но и Машу жаль — задним числом страху натерпится. И хотя Виталий вообще-то презирает всяческую, тем более неопределенную размягченность, однако на этот раз долго не может избавиться от какой-то неясной печали. Или даже — досады?

1970—1972



ГЛУХАРЬ

1

Письмо из Чамгалакши приходит перед самыми майскими праздниками. Оно длинное, написано в духе старомодной вежливости. И начинается традиционно: «Пишет Вам охотник, Подрезов Савелий Федорович. . .» Правда, в таком обращении свой смысл: надо же представиться человеку, которому пишешь впервые по рекомендации общих знакомых. Однако Мохов нетерпеливо проглядывает начало, лишь под конец читает внимательнее: «. . . в отношении глухариных токов могу сказать, что они есть. Только осведомить Вас точно, каким количеством птиц располагают, — затрудняюсь. Ввиду своей старости уже два года как за глухарями не ходил. Но если Вы намерены сюда прибыть, то услугу окажу, поставлю на ток. По погоде бы-

вает, глухари и до конца мая поют. Так что приезжайте, когда сможете. Со старушкой мы одни, места вполне хватит. А заказов к Вам у меня нет, я здешней организацией обеспечен хорошо».

Мохов откладывает письмо. Опять мысли сорокалетнего доцента, которого на кафедре все еще числят «молодым специалистом», прыгают, скачут. Да, он прекратил работу на своей опытной установке — забрел в тупик. Да, нужно уехать, отвлечься. Чтобы перебить, сломать слишком однообразный порядок доказательств, найти что-то совсем новое... Просто он устал. Поэтому, должно быть, не сойдет с давно, еще зимними расчетами протоâренной тропы. А в Чамгалакше начисто о них забудет. И тогда — на пустом месте — у него может возникнуть новый проект.

Мохов осторожно достает и аккуратно раскладывает на столе ветхую, во многих местах подклеенную карту — двухкилометровку военных лет. В коллективе охотников Лесотехнической академии она — предмет всеобщей зависти. И вот уж Валентин Мохов с чуть ли не детской радостью оценивает угодья вокруг Чамгалакши — те, где он будет охотиться.

Тут синие черточки на зеленом фоне — заболоченный лес. А какой? Черная елочка подсказывает — хвойный. Вокруг, словно кляксы, разбросаны голубые пятна — небольшие озера. По самому краю одного из них лепятся еле заметные темные метелки — у берегов камыш. Не так давно и соседнее болото было таким же зарастающим лесным озерком. Сосны на нем, конечно, невысокие, коряâенькие. Зато уж клюквы сладкой, подснежной, — на каждой кочке целые россыпи. А где ягоды, там и глухарь. Подходящее, должно быть, место...

Как на фотобумаге, опущенной в проявитель, вдруг начинают различаться очертания будущего снимка, так и на голубовато-зеленом фоне карты все явственнее проступают моховые болота, местами ржаво-красные от ягод. А рядом вырастают на гривах, на увалах светлые сосновые боры...

Гаснет над озером заря... Только на макушке одинокой старой сосны еще чернеется силуэт огромной птицы — глухарь сидит в напряженной позе, прислушивается.

И Мохов мысленно уносится туда — в весенний северный лес, к этим запахам и звукам, к той боязливой надежде, которая всегда охватывает его на охоте и знакома каждому, кто хоть раз встречал ночь на подслухе — дожидался прилета глухарей... Пусть еще не ушла, не растаяла неспешная северная заря. А уж ей навстречу забрезжила новая. Только слегка потемнело небо, вспыхнули было на нем и тут же погасли самые яркие звезды... И сначала робко, потом все сильнее, все громче зазвучали голоса весны: гогот уносящихся в тундру гусиных стай; клики журавлей на болоте; рокочущее бормотанье токующих тетеревов; тревожно-пьянящее глухариное скрежетанье... Весна, весна!

В потрепанном ватнике и высоких резиновых сапогах, тяжко нагруженный огромным рюкзаком, с ружьем за плечами, Валентин около четырех утра спрыгивает с подножки вагона. Больше никто не выходит на этой маленькой станции. Паровоз свистит. Поезд плавно трогается. Дежурный в красной фуражке, окинув пассажира сонно-равнодушным взглядом, медленно уходит к неказистым станционным строениям. А Валентин даже не шевельнулся. Так и

стоит — словно на вершине громадной лестницы. Спускаются по ступенькам леса, сбегают реки, сползают болота. Волнуются таежные дали, перекатываются, тихо шумят... Лишь в самом низу, у горизонта, неподвижно застыла белая полоса льда — Онега! Утренний свежий ветерок тянет с нее. После вагонной духоты Мохов не надышится им.

Но вот затих в отдалении ровный перестук колес. Тишина? Нет. Слабо, потом яснее, отчетливее доносятся знакомые звуки... Горожанин, редко попадающий в лес, может принять их издали за голубиное воркование. Хотя постанывание голубя, такое нежное, — только просьба.

А громкое, дикое, полное страсти призывное бормотанье тетерева — настойчивое требование, почти приказ. И пусть непосвященному косачиная любовная, как старинная русская величальная, покажется однообразной. Зато для охотника она — симфония. Никогда он ее ни с каким голубиным лепетом не спутает.

Валентин жадно вслушивается. Все новые песни — тихие и звонкие, щебечущие и свистящие, несутся из леса, вплетаются в тетеревиную. Он пристально всматривается. Внезапно ожила узкая ледяная полоска Онеги. Ее будто залило румянцем. Медленно выплывает, но вдруг, словно раскатившись по льду, неожиданно быстро выскакивает над горизонтом темно-красный солнечный шар. И тотчас смолкает лесной концерт. Все живое немеет, встречая восход.

Мохов поспешно спускается с насыпи и по тропинке входит под еще не покрытую листвой щелястую крышу леса. Потом долго идет по стеклянным рельсам не до конца растаявших лесных дорог. Соскальзывает в малонаезженные колеи, залитые крошевом из

талой воды, осколков льда и снега. Но не чувствует усталости. Дышится легко, как-то особенно вкусно. Мохов словно от чего-то освобождается. Он опять видит, слышит, наблюдает.

Все чаще повторяется таинственный шорох. Возникает то с одной, то с другой стороны дороги.

Мохов вдруг замечает: в двадцати шагах справа дрожит вершина густого можжевелового куста — кто-то перемахнул через него, задел макушку... А он не увидел этакую зверюгу!

Валентин даже сошел с дороги в снег. Но нет — никаких следов вокруг можжевельника.

Может быть, тяжелая птица с него слетела? А он не услышал взлета, хлопанья крыльев? Невозможно. Разве что филин?

Остановился на развилке двух дорог. Вынул компас. Стал сверять по крокам направление на Чамгалакшу. И вдруг улыбнулся. Это же солнце за ним гонится! Все выше поднимается над лесом, все сильнее пригревает... И освобождает от снежного плена лесную детвору. Вот прямо перед ним из сугроба выскочила небольшая сосенка. С тревожным шорохом осыпался с ее плеч снег. А она выкарабкалась и застыдилась, замахала ветками.

Неожиданно путь охотнику преграждает широко разлившийся ручей. Хороший предлог для привала. И вон — у пересечения дороги с просекой — лежит свежесрубленная столетняя сосна... «Да, что имеем — не храним...» — невольно досадует Мохов. Скидывает рюкзак, вынимает манки. По дороге он часто вспугивал рябчиков. Ну, а здесь, у ручья, в ольшанике самое должно быть им раздолье.

Охотник подражает голосу самочки. Тотчас с того берега отвечает петушок. Слышно, как перепорхнул.

Теперь Мохов его немного поддразнит — свистнет похоже. Пусть кавалер заподозрит соперника, поволнуется, поревнует.

Но неожиданно близко, чуть ли не за спиной, откликается... самочка. Настоящая, живая. Валентин не смеет оглянуться — петушок уже бежит по просеке, совсем не таится. Вспорхнул на пенек, свистнул и вытянул шейку — прислушивается. Самочка отозвалась и — т-р-р — села на моховский рюкзак.

Эх, фотоаппарат спрятан! А петушок сейчас же бросился вперед. Но красотка, не усидев на рюкзаке, взлетела на елку. Совершив изящный разворот под носом у Мохова, кавалер тоже уселся... Конечно, рядом с нею.

Охотник по-прежнему недвижим — устроил свидание!

Однако парочке не терпится уединиться. Вот уже слетели, побежали по просеке, только головки мелькают в густой желтой траве.

Мохов встает, спускается к ручью. Перейти его нелегко. Дно скользкое. Напор воды сильный. А впереди еще переправа через Чамгу. Приходится прибавить шагу.

Рев реки все нарастает. Вскоре он совсем заглушает весенний птичий концерт. Чамга не широка, зато несется по камням, сердится, грохочет...

Поперек потока свалена толстенная осина. Охотничьих рук дело. Вода еще не подобралась под ствол, но уже вовсю хлещет по сучьям. Клочья пены срываются, долетают до осины. Вся она мокрая, скользкая. И все-таки хорошо, что охотник не обрубил ветвей. Хоть держаться есть за что. Мохов замечает: кора с них аккуратно счищена — зимой зайчишки пропитание себе добывали. А теперь бы, пожалуй, не решились.

Ведь свались — тут и смерть: разобьет о камни, утопит...

Валентин осторожно продвигается от комля к вершине. Ствол делается тоньше, побеги на нем все чаще — некуда ногу поставить. Охотник жалеет, что не вынул топорик, — хорошо бы немного разредить сучья. «Правда, не очень-то удобно их рубить. На скользком бревне, с двухпудовым мешком за спиной...» — едва успевает подумать Мохов и соскальзывает. Ломается ветка, за которую держался, — он теряет равновесие. Уже падая, умудряется схватиться правой рукой за ствол.

Ноги уносит под плотину. Рюкзак тянет, опрокидывает навзничь. Неожиданно левым носком Валентин упирается в камень. Недолго висит так — отдыхает. Потом делает попытку перевалить мешок на осину. Обламывает сучья, кое-как выдирает руки из ремней... Уф! Освободился.

Теперь можно постепенно перекатывать перед собой по стволу ружье и рюкзак, а самому цепляться за ветви, ногами нащупывать камни.

«Почему же не холодно? — думает Мохов. — Вода должна быть ледяной...» Стоя в реке по грудь, изо всех сил борясь с течением, он медленно продвигается к берегу. Только тут его начинает бить озноб. «Ничего, — утешает себя Валентин, — на охоте бывает и похуже».

Наконец выбирается. Быстро снимает одежду, отжимает суконные брюки и куртку, выливает воду из сапог. Потом достает смену белья, переодевается. И бормочет: «Ай да Мохов, ай да молодец».

Он идет полями, перелесками, шлепает по мокрым луговинам-наволокам. Солнце греет все сильнее. На

тропинках земля упруго пружинит под ногой. Она словно хлебный мякиш — хоть шарики из нее катай.

Замирает в отдалении рев Чамги. Все слышнее становится птичий гомон. Но в него вливается новый, странно знакомый звук. Будто слева за наволоком, нет, дальше — за невысоким каменистым хребтом — булькает, кипит на костре огромный таган. Бурлит вода в котле, клокочет! Однообразный и яростный мотив этот звучит все сильнее.

Мохов забывает, что промок, что уже прошел десять километров, что до Чамгалакши еще верных пять, и сворачивает на крутой склон. Но не переваливает через гребень. Ложится за большим камнем и, скинув рюкзак, достает бинокль.

Длинная узкая Чамгагуба далеко вдается в материк. Она еще покрыта льдом. Только слева, у самого устья реки, виднеется неширокая полоса чистой воды. А прямо, недалеко от обрывистого края увала, водят на льду хоровод косачи.

Тетерева то медленно кружат, то бегают, гоняются друг за другом, то сходятся, словно лбами хотят столкнуться, подскакивают вверх — будто парни вприсядку пляшут.

«Не отсюда ли пошли наши русские народные пляски?» — спрашивает себя Валентин. В бинокль ему видны набрякшие ярко-красные брови петухов, их, даже на льду, ослепительно-белые подхвостья, крутые косицы лирных хвостов... Вот один из чернышей, спасавшийся бегством от преследований главного токовика, вдруг не выдержал — взлетел. Косым полетом пошел вокруг токовища. Но и старик не утерпел — поднялся вслед за ним на крыло. Помчался вдогонку.

«Словно утки перед тем, как сесть на воду», — усмехается охотник. Никогда еще не встречал он такого

азартного и беззаботного, такого свободного весеннего игрища. Непрерывно льется победное бормотанье, переплетается с ним отрывистое торжествующее чуфыканье — бурлит тетеревиная серенада.

Мохов еще долго лежит за камнем, не отрывая бинокля от глаз.

2

Савелий Федорович Подрезов встречает гостя приветливо. Валентин рассказывает, как по дороге свалился в Чамгу.

— А вот с добрым-то другом и в огне не сгоришь, и в воде не утонешь, — сочувственно посмеивается Савелий Федорович.

Вдруг он неожиданно замечает:

— Однако настояще в лесах завсегда один промышляешь. Зверя не спугнешь зазря.

Тут же в разговоре выясняется: старик неграмотен. Счета толком не знает. А письмо писал под диктовку Савелия Федоровича его внучек Вася. Приезжал на каникулы погостить.

— После революции, когда мы с Аграфеной Антиповной прознали, что ликбезы открылись, — рассказыва́л Савелий Федорович, — нам пало на ум: вот бы грамоте обучиться! Только мне тогда уже к пятидесяти шло — Ленину ровесником довожусь. Ну, наука-то в эти годы не под силу сказалась. Да и недосуг охотнику зимой — пушнину надо добывать. Так моя грамота лишь на стенках видна...

Действительно, изба увешана почетными грамотами. Они выданы Савелию Федоровичу Подрезову за перевыполнение плана добычи пушнины, за первенство

в соревновании охотников-промысловиков. Все в рамках, под стеклом.

— А когда мы с вами на глухаря пойдем? — спрашивает Валентин.

— Можно бы хоть сейчас. Чайку попить да идти. Только вот старушка моя в городе, у дочки гостит. Как коровушку недоенной оставить? Малость подождать надобно.

Мохов понимает дипломатию старика: доверие нужно завоевывать. Он рассказывает, как любовался на косачей с увала.

— Вот и займись ими, покуда моя Аграфена Антиповна не воротится. Ток непуганый — у нас ходить некому. Разве что с берега теперь их не достать — придется на льду будку ставить. Ну да сам знаешь. А начать лучше с утра — не то воды много натает.

Полдня Валентин таскает сосновые ветви с увала, охапки сена с наволока. Лед тревожно трещит — словно кто-то рвет полотно на куски. У берега он подозрительно прогибается, вода выступает на нем выше щиколотки.

Наконец будка поставлена.

До вечера гость спит в клети. А проснувшись, уходит на тягу. Пусть косачи привыкнут к шалашу, поверят в его безобидность. К ним он завтра пойдет, если Аграфена Антиповна не приедет.

Савелий Федорович усмехается — понял намек, но моховский план одобряет: по-охотницки задумано.

Утром с интересом разглядывает убитых на тяге вальдшнепов.

— Однако с рябчика будут. Только у нас ими не балуются — зарядов жалеют. Рябцу свистни — он тут как тут. А летных стрелить... Небось на троих с десяток патронов извел?

— Четыре раза выстрелил.

— Вот и я будто слыхал — четыре. Да усумнился, не прослушал ли.

Неторопливо они завтракают, поджидая Аграфену Антиповну. И не спеша, от нечего делать, беседуют.

— Как, финны во время оккупации заглядывали к вам? — спрашивает Мохов.

— У нас один офицер стоял и взвод солдат. Ну, с офицером о войне толковать не приходилось, а солдаты прямо говорили: «Война ни к чему. Карел нам брат, русский — друг. Немцы финнов воевать заставляют».

— Как же вы с ними объяснялись?

— Карельский наш говор с финским схож.

— А партизаны были у вас?

— Дочка в партизанах состояла.

— Вон что! И далеко?

— Да тут же, в лесу, отряд находился. Она связной была. Старушка моя им хлеб пекла, а я дочке относил. Будто на охоту хожу. Ну, только до поры этак-то...

— А потом?

— Потом не то офицер меня подозрил, не то из деревенских кто его научил... Стал со мной ходить. Вроде задумал сохатого взять, чтоб с огромными был рогами — мерку показывал. Говорю ему: у нас подобных и не слыхано. Смеется: найди, да и только. Вот уж никогда я так за лосями не убивался. Молиться стал, чтобы мне этого рогача найти.

— Нашли?

— Нет, разве найдешь. Таких и не может быть. Обман. А дочка приспособилась в деревню захаживать. Пока мы с ним лося ищем, она нашей-то

лыжней — шасть. Или по ночам... Очень мы со старушкой в ту пору за нее страшились.

— Теперь она в Петрозаводске?

— Нет, то другая — младшенькая. Их у нас трое, дочек-то. А Настеньку — старшую нашу — в сорок четвертом убили. И мужа ее, — обоих вместе. Тогда десант здесь высаживался. Партизаны ему с берега помощь оказывали, да, видно, в ловушку попали...

Больше спрашивать не о чем. Валентин неловко смолкает. Утешения тут неуместны. Старик держится с достоинством.

К вечеру Савелий Федорович приглашает пройтись вдоль больших ручьев — по местам, где утки кормятся, пока не вскрылись озера.

Первый селезень круто взмывает над кустами, за которыми притаились охотники. Мохова почему-то необычайно волнует привычный свист его крыльев.

«Не из-за этих ли звуков невозможно отказаться от охоты? Не для того ли чуфыкают и бормочут тетерева, щелкают и точат глухари, свистят крыльями утки, чтобы манить охотников, звать их помериться ловкостью, силой, умением?..» — мысленно спрашивает он себя и, сам того не замечая, быстро и сноровисто вскидывает ружье.

Вот уж матерый крякаш над головой... Уходя чуть ли не вертикально вверх, он словно запрокидывается на спину. Но в это мгновение Мохов стреляет. И, еще только нажимая на спуск, твердо знает, что не промахнулся.

Селезень падает у самых ног старика, глухо бухаясь о мягкую весеннюю землю.

— Важно сбил! — одобряет Савелий Федорович. —

Ну, да есть ружья, что сонны звери, а есть — погонялкой хлещут, — тут же добавляет он капельку дегтя.

Но стрелок ничего не замечает. Поглощен торжеством победы, гордится выстрелом — в эту минуту он по-настоящему счастлив.

Потом над ними с таким же волнующим свистом крыльев тесной стайкой проносятся несколько селезней и уток. Валентин невольно вскидывает ружье, но удерживает палец на спуске. Будто салютуя, ведет стволами вслед утиному табунку.

— Ну и ладно, что не стрелил, маток бы зацепил, — похваливает гостя Савелий Федорович.

На следующее утро Мохов приносит с тетеревиного тока двух косачей.

— Небось вечером много воды на льду натекло. Не боялся к будке-то переходить? — спрашивает Савелий Федорович.

— Какой там не боялся! — признается Валентин. — Чуть не по колено брел. Даже шест поперек держал — на случай, если б обломилось.

— Ну, то правильно делал. А вода... только в баньке хороша. К утру-то сошла? Подмерзло, иль как?

— Ничего, подмерзло.

— А долго сидел?

— Дожидался, пока разлетятся.

— Ну, то правильно, что у них на глазах из будки не выстал. Да, поди, захолодал на льду-то?

— Ничего, ватные брюки надел, сена под себя подгреб. Зато уж налюбовался, наслушался...

— А не каждому этак-то приятно. Другому скажи: я тебе на льду двух петухов оставил — вместе три кило потянут. Пять верст пройдешь — твои будут. Еще подумает: стоит ли... ночью-то. Но охотнику ничего там

не ложили — все равно тащится. Хоть никто его на ту работу не гонит.

Мохов понимает: старик наконец причислил гостя к великому охотничьему братству. «Вроде как Тарас Бульба своих сынов кулаками в «лыцари» посвящал», — думает он. А Савелий Федорович тем временем продолжает:

— Вот теперь и на глухариков отправимся. Погода-то уж больно подходяща — не мощно нам старушку дожидаться. За коровушкой и соседка доглядит. . . — говорит он, лукаво улыбаясь.

По пути на ток Савелий Федорович все-таки не перестает экзаменовать гостя — то и дело спрашивает о направлении: на деревню, на станцию, на Чамгагубу. . .

Валентин отвечает правильно. Он тщательно следит за всеми поворотами тропинки — двойного следа, пробитого кем-то до них в глубоком снегу.

— Степан, должно, в ток ходил. Кроме некому, — говорит Савелий Федорович.

С трудом они поднимаются на сельгу — невысокую каменистую гряду. Здесь след Степана теряется. Зато идти легко — в сосновом бору почти нет снега. Но вскоре начинаются вырубки. Приходится продираться сквозь молодую поросль, перелезать через завалы. Местами охотники вынуждены прыгать со ствола на ствол. Идут словно по второму этажу леса — так тесно лежат сваленные, но не вывезенные деревья. Иногда они окорены, сучья обрублены. Гораздо чаще вековые гиганты просто спилены и брошены. Они уже гниют! Наступив на толстенный ствол, Мохов по щиколотку проваливается в труху.

Нет, нельзя бросать свой проект. Здесь расходы на передвижную установку термической переработки

лесоотходов быстро окупятся. Вот если предварительно все просортировать?.. Не только хвою отделить, но и кору, и сучья. И для каждой составной части создать особые термальные условия...

Однако похоже, что Савелия Федоровича не волнует нелепое истребление народного добра.

— Испокон веку так... Разве вывезешь все, что срублено?.. У человека глаза завсегда больше живота... — Он предоставляет гостю возмущаться нерадивостью лесозаготовителей.

Валентин заводит со стариком долгий разговор о здешних угодьях. Только под вечер добираются они до заветного тока.

— Ну, ты в лесях можешь ходить, — говорит Савелий Федорович, вытирая ладонью пот со лба.

И Мохов понимает: испытательный срок пройден, сдан последний экзамен.

Охотники принимаются готовить дрова для ночного костра.

Валентин откровенно восхищается ловкостью старика. Топор так и летает в его руках. Савелий Федорович с достоинством принимает похвалы, но по-стариковски не может удержаться от назиданий:

— Известно в лесях человеку топор — первый друг, собака — второй.

И неожиданно добавляет:

— А еще в лесях хорошо иметь товарища лучше себя.

Мохов долго ломает голову: Что значит «лучше»? Моложе, сильнее, выносливее?.. Может быть, как раз наоборот: тут скрыт намек на недостаточную расторопность гостя? Но тогда вся фраза приобретает хвастливый оттенок. А чванство не в характере старика. Скорее он отвечает похвалой на похвалу — хочет дели-

катно отблагодарить своего спутника за то, что тот поровну с хозяином делит все труды.

За чаем Савелий Федорович рассказывает о пенсии, которую надеется получить по новому закону. Мохов слушает и ... не слышит. От горячей еды, от яркого пыла костра его совсем разморило. Смутно доносятся слова старика.

— Ну, однако, пойдем, — обрывает сам себя Савелий Федорович. Мохов вскакивает преувеличенно поспешно. Наконец они идут в ток!

Продвигаясь вслед за стариком, Валентин старается не наступить на сухой сучок, чтобы «не ручкнуть», — как говорит Савелий Федорович. Идти нетрудно. Краем болота, невысоким редким леском, утонувшим по щиколотку во мху. И снега нет — не хрустит под ногами.

Они часто останавливаются. Подолгу стоят не шевелясь. Слушают. Уже давно пересвистываются пичужки, спел свою утреннюю песню дрозд. А глухарей не слыхать. Вот отвратительно громко прохохотал куропач. Осторожно обходят охотники болото. На нем вовсю трубят журавли. А мошники молчат.

Рассветает. С Чамгагубы доносится бормотанье тетеревов.

«Неужели старый ошибся? — думает Мохов. — Ведь он два года здесь не был. За это время тот же Степан мог всех глухарей повыбить... Или ток немного сместился в глубь леса?»

Это последнее предположение Валентин высказывает вслух. Но Савелий Федорович не соглашается: никогда такого не случалось. Обойдя болото кругом, они уныло возвращаются к своему табору. Старик насупился: не потрафил гостю, вроде слово не сдержал.

Мохов предлагает отдохнуть перед тем, как тро-

нуться в обратный путь. Савелий Федорович возражает:

— Назад охотнику просто идти.

— С добычей?..

— Ништо и пустому — легше.

Действительно, первое время они идут довольно быстро. Валентин уверенно опознает направление в незнакомом лесу. Этим отчасти скрашивается неуспех вылазки. А тут и старик поднимает настроение.

— Коли старушка моя приехала, мы в леси на три дня сходим. От тока к току будем переходить. Найдем глухариков...— обещает Савелий Федорович.

Они выходят к завалам. Внезапно с Онеги набегают низкие рваные тучи. Начинает накрапывать дождь. Постепенно он делается более частым, превращается в ливень. Спрятаться негде, кругом вырубки, мелколесье, буреломы. Накидки вскоре промокают насквозь. Плечи и спины охотников сыреют. Холодные ручейки стекают под мышки. Рубашки на поясе заболачиваются, прилипают к телу, холодят...

Но тут дождь сменяется мокрым снегом! Сначала он идет крупными хлопьями. Потом снежинки делаются острее, тоньше, круче... И вот уже они по-настоящему зимние — колючие... Ледяной ветер мечется по вырубке, пригоршнями бросает их в лицо, забивает в рукава, за шиворот...

Окрестности неузнаваемо меняются. Трудно поверить, что с утра было солнечно, тепло. Словно поздней осенью чернеет в побелевших берегах вода разлившегося ручья. Перечеркнута косыми снежными штрихами темная полоска леса на горизонте.

Савелий Федорович обнаруживает заброшенную тракторную дорогу. Она, правда, дает большого крюку. Зато теперь охотники идут рядом по широким

колеям — куда легче, чем по вырубке. Старик трогает гостя за рукав:

— Понял, почему тока нет?

Мохов согласно кивает — он и сам давно догадался. Но Савелий Федорович не унимается, продолжает бросать короткие отрывистые фразы:

— Строги они, ох строги... Загодя непогоду почуяли... Поди вовсе на ток не вылетали...

Мохов опять кивает. Понятно, что глухарей не было. Иначе охотники обязательно спугнули бы хоть какого-нибудь молчуна. Он понимает настроение старика. Просто ему разговаривать не хочется. Жмется, старается не пропустить влагу в последний сухой островок одежды.

Но окончательно промокнув, Валентин даже взбадривается — хуже-то теперь не будет!

Облака внезапно разрежаются, в просветах виднеется голубое небо. Снегопад прекращается. А мороз усиливается. Невольно они прибавляют шагу. Почти бегут. Только все время скользят. Дорога обледенела.

Савелий Федорович падает как-то странно — ничком. Мохов бросается к нему...

— Ништо. Ближе к дому, — отшучивается старик, вставая. Видно, что подниматься ему нелегко. Как ни шути, а годы...

Вдруг в стороне от дороги Валентин замечает диковинные следы. Никогда таких не встречал!

Две ямочки, за ними две... не то запятые, не то кавычки... Ямочки поближе к оси следа, а лихие закорючки, похожие на разорванную букву «х», примостились по сторонам. Так и тянутся в лес двумя рядами.

Может быть, волочит задние лапки белочка-калека? Или какой-то зверок в капканчик попал — тащит его за собой?

Ясно: беда настигла одного из жителей леса.

Мохов показывает следы старику.

— Лягуха, — равнодушно роняет Савелий Федорович.

— Не может быть!

— Сходи взгляни, небось недалеко упрыгала.

Гость и пятидесяти шагов не проходит по следу, как уже замечает коричневато-зеленый комочек. Бедняга скрючилась на снегу, да так и застыла.

«Не только нас, и тебя погода обманула», — Валентин в этом, кажется, находит какое-то облегчение. А вернувшись на дорогу, видит, что старик совсем изнемог. Вот, снова упал... И шутливое «ближе к дому» звучит сейчас жалобно.

Мохову удается отобрать у него котомку и топор. Должно быть, это настраивает Савелия Федоровича на грустный лад. Он принимается рассказывать о своих злоключениях с пенсией. Не признают местные власти за ним права на нее. Говорят: «Не колхозник ты!» Хотя в Чамгалакше сроду колхоза не было. Раньше считалась рыбачьим поселком, сейчас — отделением совхоза. И старый охотник сызмальства промышлял пушнину. Только за послереволюционные годы добыл «мягкого золота» почти на миллион рублей.

— На лесе да на шкурках этих Магнитогорск и Днепрострой росли, а меня теперь кустарем числят, — с горечью замечает старик, — для себя, говорят, старался. Ну, ты все мое старанье видел: коровушка да изба...

Мохов обещает разузнать в Ленинграде о пенсиях промысловикам. И тут выясняется: два дружка Савелия Федоровича — такие же охотники — получают пенсию!

— А я, говорят, страховку не платил. Да кто ж его знал, что так оно обернется? — сокрушается старик.

Еле дотащившись до густого елового бора, укрывшего их от пронзительного ветра, охотники разводят костер. У гостя в целлофановом мешочке сохранились сухие спички.

Потрескивая, вспыхивает береста. Красно-черными языками загораются щепки смолистого пня. Полыхает жаркое пламя. Охотники сушат одежду, греются, с наслаждением пьют чай.

Валентин отдохнул — готов еще хоть двадцать километров по завалам прыгать. А Савелий Федорович вроде бы не в себе. Бледен, глаза запали... Но бодрится.

Наконец добираются они до деревни. Последние километры старик явно идет через силу. То и дело останавливается, приглашает гостя взглянуть: на стайку гоголей, протянувшую к Чамгагубе, на кроншнепа, с мелодичным свистом летящего стороной, даже на чибисов, гоняющих ворону... Мохов старается подольше протянуть эти остановки, не устает восторгаться, нарочно расспрашивая Савелия Федоровича. Еще издали замечает охотника, вышедшего за околицу Чамгалакши. Невысокий человек этот широко, легко шагает им навстречу, хотя на ногах у него тяжеленные кожаные болотные сапоги с подвернутыми высокими голенищами. Шапка сдвинута на затылок, ватник расстегнут. А главное, в бинокль прекрасно виден берестяной заплечный кошель, из которого торчит... хвост глухаря! Есть чем гордиться!

Мохов сообщает старику о своем открытии.

— Вижу, — отвечает Савелий Федорович. — Степан это Петушев. Один он у нас в ток-то ходит — проходимец!

Валентин переполняется завистью, неприязнью, обидой... Словно бы Степан у него из-под носа уволок законную добычу — вот уж верно: проходимец!

Сближаясь, он разглядывает соперника.

Лоб высокий, глаза светлые, нос прямой, рот слегка щербатый (заметил, когда Степан улыбнулся). А в общем — лицо как лицо. И все же: открытая доброжелательность улыбки, какая-то милая откровенная веселость...

Пожалуй, Степан из тех, о ком говорят: симпатяга, душа человек. Странно.

Мохов загляделся, задумался. А Савелий Федорович, оказывается, сватает его проходимцу. И вроде уже договорился: Степан отработает смену и вечером, прямо со станции, пойдет на ток. Встретит гостя в конце лесовозной дороги, у края вырубки. А то Савелию Федоровичу «не мощно в ток идти, что-то неможется...»

Степан спрашивает: найдет ли Валентин место встречи?

— Этот не заблудит, вроде тебя проходимец, — заверяет его Савелий Федорович, довольно необычно аттестуя гостя.

Они расходятся. Мохова неприятно поражает бесцеремонность, с которой старик распоряжается им, словно ребенком. И, еще не войдя в избу, напрямик спрашивает: зачем понадобилось сводить его с проходимцем, разве мало добрых людей?

— Степан — человек хороший, — с достоинством отвечает Савелий Федорович. — В лесах он все тропочки-дороги знает, всякую помеху одолеет — везде может пройти. Вот и зовется — проходимец.

3

Начисто стаял выпавший утром снег. И мороза как не бывало. Вечер теплый. Степан уверяет, что такие внезапные перемены погоды — не диво для карельской весны.

Мохов берется заваривать чай. Наливает в крышку манерки немного крутого кипятка. Бросает кусочек сахара. И всыпает туда же чуть ли не полпригоршни еще дома составленной чайной смеси. Добавляет несколько листиков брусники и, накрыв крышку широкой щепкой, ставит ее поближе к огню.

Теперь он выждет минут пять, пока не распарятся чаинки. Лишь тогда вывалит заварку в котелок, кипящий на костре, тотчас снимет его с огня и прикроет крышкой, а сверху — еще и ватником. Густой, с дымком, с еле слышной брусничной горечью — настоящий охотничий чай будет готов.

Но на этот раз Валентину не удается закончить свой обряд. От удивления он даже о заварке забыл. Степан — этот лесной проходимец, этот заядлый охотник — вслух читает стихи:

Ты вспомни Родину, ее леса и реки,
Ее озер и синь и серебро...
Ведь мы с тобой как будто не калеки.
Не стыдно ль нам на нарах мять ребро?..

В тот час, когда она полна тревоги,
Мы здесь, в тепле, бесцельно жизнь влачим.
Но смелому открыты все дороги,
И мы с тобой из плена убежим!..

«Где это он такое подцепил? — поражается Мохов и внезапно замечает: щепка, покрывавшая заварку, обгорела, обвалилась внутрь. Вода выкипела. А каши-

цеобразная масса чаинок вспузырилась, местами присохла ко дну...

Валентин хватает рукавицей злосчастную крышку и, сильно размахнувшись, бьет ею по стволу ближайшей сосны — хочет вытряхнуть заварку. Не думает даже о том, что необычный звук испугает, насторожит глухарей, если они уже прилетели.

Степан замолкает. Он удивлен. И Мохов не знает, что сказать, как замять свою выходку. Проходимец еще, чего доброго, примет ее на свой счет, обидится... Но Степан сам нарушает неловкое молчание:

— Это я в плену товарищам слагал, — говорит он. — Они мои рассказы любили.

В плену... Оказывается, Валентин не забыл, как в центре Ново-Севастопольской станицы остановился их зеленый автобус. Трое суток они не спали — удерживали переправу, пока на левый берег Кубани не перешли все части корпуса. А когда немецкие танки попытались с ходу проскочить по наплавному мосту на плечах последних подразделений, лейтенант Мохов с каким-то мстительным восторгом передал приказ полковника Золина саперам. И своими глазами видел, как взлетала на воздух, падала в воду грозная техника врага.

Потом полковник Золин велел им — обеспеченцам — ехать в штабном автобусе. Усаживаясь рядом с шофером, полковник еще что-то сказал. Валька уже не понял — уснул. Всю дорогу до Ново-Севастопольской мучился: тяжко задремывал, пробуждался, снова засыпал... И даже во сне его не оставляло сложное, радостное и вместе с тем горькое чувство. Ведь восемнадцатилетний лейтенант впервые тогда видел немец-

кие танки, дрался с ними, побил их... Но где? На Кубани...

И вот автобус остановился среди пыльных садов и беленьких хаток.

— Даю на отдых четыре часа, — сказал полковник Золин. — Сбор здесь, у автобуса, в двадцать ноль-ноль. Опоздавших ждать не стану.

Обеспеченцы разбежались по ближайшим улицам. Теперешний Мохов, вероятно, сразу бы понял сияющий лаской взгляд молодой казачки. И насторожился бы.

Но восемнадцатилетний Валька оценил только прохладу горницы, чистоту простынь, веселую приветливость хозяйки. И, раздеваясь, по привычке аккуратно складывая гимнастерку, протянул ей свои часы. Сказал мягко: «Разбудите меня, пожалуйста, без десяти минут восемь, ни в коем случае не позже».

Он и сейчас физически остро вспоминает тогдашний, счастливо-сладкий сон. Чье-то дыхание как будто касалось его лица, кто-то склонялся к нему, что-то радостное, бесконечно-нежное бродило вокруг, жило в нем, наполняло все его существо, пело в крови... Валька и проснулся с этим же ощущением восторженного свершения.

Хозяйка сидела у изголовья кровати. Левым локтем уперлась в коленку, кулаком поддерживая подбородок. На раскрытой ладони ее правой руки лежали Валькины часы. Но смотрела она прямо — Вальке в глаза. И не вздрогнула, не сморгнула, когда он их открыл. Смуглолицая, в темной ризе каштановых волос, походила на древнюю икону — не на живую женщину. Странной истовостью дышало лицо. А тут еще вокруг головы молодой казачки вдруг вспыхнуло сияние — сзади в окно ворвались лучи заката.

Но мгновенно Вальку облила холодом догадка: солнце садится — опоздал! Он вскочил, выхватил у хозяйки часы... Они показывали половину десятого...

Никогда по тревоге Валька не одевался быстрее. Ведь еще месяца не прошло, как был зачислен в командирский резерв корпуса. И вдруг — дезертирство!

Женщина встала, отошла к двери. Схватив себя руками крест-накрест за плечи, замерла в странно-напряженной позе. Словно старалась что-то удержать в груди, не выпустить наружу. Валька люто ненавидел ее в это мгновение. И не выдержал, крикнул:

— Как вы посмели не разбудить меня?!

— Очень уж вы сладко спали, — еле слышно ответила казачка.

Почему-то это смирение, да и сама поза хозяйки показались ему фальшивыми. Он взбесился, заорал еще громче, вздумал стыдить ее. Тут и она завопила во весь голос:

— Стыдно! А нас, женщин, не стыдно оставлять?! Немцы-то вон через Кубань уж переправились. Куда теперь побежите? В горы спасаться или в плен сдаваться?

Может быть, именно в ту минуту рядом с отвратительным словом «дезертирство» и встало еще более страшное: «плен»? Или это случилось позже, когда Валька бежал по пыльной бударочной дороге, пролегшей в кукурузной чаще?

А тогда он просто бросился к двери, и казачка рванулась ему навстречу, обхватила руками за шею, повисла на нем всей тяжестью... Закричала бессвязно:

— Миленький, не ходи — убьют! Ой, не пущу! Не ходи, вон они, проклятые, куда добрались! Спрячу — никто не узнает... Все равно опоздал. Не отдам тебя, никому не отдам!..

Смутился ли он хоть на мгновенье? Ощутил ли податливость ее крепкого тела? Нет, ничего этого не испытал Валька — только злость и стыд. Грубо отбросил хозяйку. Не взглянул даже, как она упала. Услышал шлепок ладоней по земляному полу и, бешено рванув дверь, выскочил на улицу.

Уж он-то никогда бы в плен не попал. Стрелял бы до последнего патрона своего «ТТ». И не задумываясь, пустил бы восьмую пулю себе в лоб. А Степан вот сдался, и не стыдится о том рассказывать...

— Мы с двумя товарищами зашли в блиндаж — перекурить. Вдруг как грохнуло! Первым же, видать, снарядом нас и засыпало. А может, и не первым. Молодые мы тогда были, необстрелянные. Легли на землю, друг к дружке прижались и трясемся. Земля под нами ходуном ходит, а сверху сквозь накатник — на спину сыплется... Темно, пыль тучей стоит — аж дышать трудно. С полчаса иль больше представление это шло — теперь не скажу. Ну, как замолчало, мы скорей друг друга щупать. Вроде живы, целы. Только в ушах еще гул остался, долго потом не проходил. Решили откапываться. Однако лопат нет. Ни больших, ни малых. Вот и трудимся: ковыряем штыками своими трехгранными да прикладами отгребаем. В темнотище, на ощупь. Сами понимаем, что сил много зря тратим, а все равно копаем, спешим. Рядом встали, плечом к плечу. Враз, по команде, ударяем. По команде и отгребаем... Ну, потом земля помягче пошла. Опустились мы на коленки и взялись ладонями ее грести. И вот начинаем замечать: из хода сообщения нас ровно бы кто засыпает. Мы на себя отвалим — сверху новая земля обрушится... Однако спуску себе не даем,

знай вкалываем. Вторые сутки пошли, мы уж полблиндажа земли нагребли, а вперед нисколько не продвинулись. «Эх, — думаем, — как бы хуже себя не закопать!» Давай сквозь накатник дырки делать. Штыками между бревнами бьем и после их раскачиваем. Но ведь не знаем, какую на нас гору насыпало, в каком месте лучше пробиваться? Вот и тыкаемся туда-сюда. Сыплется нам земля на голову, и все тут. На третьи-то сутки очень ослабли мы: не так от голода, как от жажды. Сырую землю жевали — себя обманывали. А все равно бьемся — не подыхать же без бою? Не сказал я раньше, что у одного-то из нас часы были со светящимся циферблатом. За заводкой мы следили, благодаря часам этим и сутки вычисляли. На четвертый день все-таки пробили щель — в пол-ладони шириной. Встали под нее, обнялись за плечи — друг друга поддерживаем, а сами дышим, надышаться не можем. Вроде как в озерах наших карельских к весне рыба у прорубей собирается и стоит — дышит. Смех теперь о том и рассказывать... Но тогда щель эта нам много прыти прибавила. Взялись мы по очереди кричать в отдушину — помощь звать. Только голоса у нас от жажды хриплые, сами себя еле слышим. Где уж такому писку на волю пробиться. Вдруг наша дыра закрылась! Наступил на нее кто-то. Мы прикладами в накатник застучали, заорали во всю мочь... Откуда и сила взялась! Очень уж обидно показалось: нас не замечают! А что дальше было — не помню, чувств лишился. В себя пришел — кругом все белое, как в больнице. Скорей снова глаза закрыл, подумал: чудится мне! А сам прислушиваюсь к разговору — финны! Карельский-то язык мы в школе изучали, я и догадался, что в плен попал...

Мохов почти перестал слушать Степана. Поражен сравнением. Ведь и он мог бы так? Заживо погребенный, изголодавшийся, обессиленный...

Вот, когда вырвался от казачки... Чемпион школы на пятикилометровую дистанцию, он бежал ровно и споро по дороге, пролегшей в кукурузной чаще. Не хотел здесь, в степи, стать легкой добычей немецкого бронепатруля. Надеялся за ночь добраться до лесистых предгорий.

Вдруг услышал впереди быстро нарастающий рокот моторов. Резко остановился. И тотчас совсем близко застучали отчетливо и сухо немецкие автоматы — он их сразу узнал. Моторы взревели и стихли, автоматам ответила беспорядочная винтовочная стрельба, и крики, и ругань... Внезапно резкая вспышка озарила темную чащу. За ней глухой удар и свист осколков — гранаты. И снова выстрелы, автоматные очереди, крики...

— Врешь! Мы в плен не сдаемся!

И еще вспышка, и еще удар. Но все заглушил гул моторов, надвигающийся прямо на него, на Вальку...

Ноги оттолкнулись сами, и он понесся. Ни о чем не думал. Только одно это слово «плен» стучало в мозгу все время его бегства. Да стоял в ушах треск кукурузных стеблей. Наконец он остановился. Выстрелы стихли, не было слышно и шума моторов. Никто за ним не гнался. И Валька упал ничком, уткнулся головой в словно бы окаменевшую сухую глыбу и... зарыдал. Теперь трудно вспомнить все, что говорил он себе пятнадцать лет назад. Какие чувства тогда его обуревали. Память сохранила только внешнюю канву событий. Он ведь догнал своих. Повезло...

Неожиданно Мохов замечает, что Степан смолк. А тот занялся чаем, понял, что его не слушают. Пытаясь сгладить неловкость, Валентин спрашивает, где чаще токуют старые глухари: у края болота или в глубине бора? Не случалось ли Степану заставать их на земле?

Степан отвечает. Потом сам принимается рассказывать о лучших направлениях подхода, о ямах с талой водой, которые могут попасться на пути...

— Только гляди, чтобы копалух ни в коем разе не трогать, — жестко предупреждает Степан. И уже обычным веселым тоном добавляет: — А я не помешаю, на другую сторону мшары пойду.

В темноте начало глухариной песни звучит робко, словно тихая мартовская капель: «кап... кап...кап...» Но вот песня принимается частить и вдруг заливается прямо-таки резвым апрельским перестуком: «кап-кап-кап... кап-кап-кап». Мохов наслаждается. Уже отчетливо различает и второе, глухое колено — щебетанье. В такт ему скачет огромными прыжками. Мягкий мох заглушает шаги. Сосны на фоне начавшего яснеть неба расставлены будто вехи. Невысокий, но густой еловый подрост прикрывает охотника от зоркого глаза мошника. Издали доносится щелканье второго, третьего, четвертого певца... И опять удача: эти сидят дальше первого — не помешают приблизиться к своему на выстрел.

Валентина захватывает и вот уже крепко держит радостное волнение, знакомое каждому, кто хоть раз скакал к поющему глухарю. Вдруг он останавливается у большой разлапистой ели. Очутился на краю болота, словно перед внезапно поднявшимся занавесом.

Лес расступился и сразу посветлело. А за разбросанные по мшарине редкие, корявые сосенки, увы, не спрячешься — заметит! И вдоль опушки обходить бесполезно: его глухарь сидит на небольшой сосне посреди болота, вне выстрела. К далеким певцам тоже не успеть — рассветет раньше, чем туда доберешься. Делать нечего, под звуки шипящей песни Валентин залезает внутрь елового шатра, ложится... Густые нижние ветви склоняются до самого мха — надежно прикрывают охотника! Пусть стрелять не придется, зато вдоволь наглядится...

Только теперь Мохов замечает: смолкли почему-то дальние глухари. И вдруг слышит лопотанье могучих крыльев. Все ближе, ближе... Не Степан ли спугнул? Первый мошник садится на краю мшары, совсем рядом. И сразу напыживается. Похож сейчас на огромный чайник — так странно выгнул шею. Однако не поет, прислушивается. Зато «свой» просто из себя выходит. Словно гусак, пытающийся кого-то ущипнуть, он вытягивается вдоль сука, переступая с ноги на ногу, и шипит — яростно точит.

Между тем подлетает еще один. И садится чуть ли не на голову Валентину — в крону соседней сосны. Долго не может приладиться, бьет крыльями, царапает когтями сучья. Сорванные им тонкие шелушинки молодой сосновой коры, порхая, опускаются у моховской засидки. А Мохов не дышит, затаился, хотя сердце пляшет: надо же — зверь сам на ловца бежит! Но вот сначала первый пришелец, а за ним и второй принимаются пощелкивать... все чаще, чаще, наконец поют. Под песню пока еще не видного ему «соседа» Мохов осторожно перевертывается на спину. Поднимает и ставит рядом ружье. Только стрелять не торопится, хочет как следует насладиться зрелищем. И... еле

удерживается, чтобы не прыснуть. Встопорщив перья, раздув зоб, весь налившись спесью, глухарь хвастает! Конечно, природа обделила лесного великана голосом. По правде говоря, он и не поет вовсе. Так... пощелкивает, поскрипывает. Только фантазеры-охотники называют песней эти глухие, тихие звуки. Зато каким драматическим талантом обладает бородатый артист! Сколько раз Валентин любовался выразительными позами... Словно в балете, силились влюбленные мошники движениями передать владеющую ими страсть. Радостно танцевали они на своих ветвях, временами замирая в истоме, в полном изнеможении...

Но среди множества плясок, подсмотренных Валентином, не встречалось еще чванливых. А тут... Надувшись от важности, «сосед» лишь похаживает по ветке. Как видно, убежден в собственной неотразимости, переполнен самодовольством. Снисходительно позволяет скромным сереньким копалухам заглядываться на блестящие одежды столь значительной особы.

Или просто не приходилось Мохову раньше наблюдать токование, лежа на спине?

Далекий разорванный дуплет прерывает спектакль. Тотчас смолкают глухари. Даже бахвал «сосед» складывает распущенный веером хвост — готовится слететь. Быстро накрыв стволами его плечо и шею, Валентин нажимает на спуск. И поднимает еще дергающегося полупудового красавца.

Снова выстрелы! Уж не попал ли Степан в беду?

Стрельба доносится как раз со стороны мшары. Но такой пальбы на току не открывают. Мохов хватает свою добычу и, не раздумывая, бежит, огибая болото по опушке... Еще дуплет!

Наконец Валентин переваливает через сельгу. В глубокой ложбине, поросшей молодыми соснами и

березками, сохранился снег. Что-то там бьется — огромное, темно-бурое... А рядом, спокойно опустив ружье, стоит Степан.

«Неужели шатуна свалил?» — не без зависти спрашивает себя Мохов. Однако, подойдя поближе, видит: лось! И сразу же вскипает: «Меня о копалухах предупреждал, а сам что сделал?»

Но Степан улыбается так откровенно-счастливо! Рассказывает, что недавно поймал капканами двух волков. Показывает полученную за них и продленную до первого мая лицензию на отстрел лося-самца... Мохов мысленно стыдит себя: он-то уж собрался ругать Степана.

Тем временем сохатый перестал биться — стих. Не ходит покрытый желтоватой пеной, запавший в паху бок. Будто пытаясь бежать, не сучат бессильно стройные ноги. Затуманился взгляд. Не дрожит больше вывалившийся, до крови закушенный язык. Только из раны под лопаткой еще сочится густеющий на глазах, тоненький алый ручеек.

Степан широким охотничьим ножом раздвигает зубы зверя и двумя ловкими взмахами отрезает язык от глотки.

Никогда Валентин не забудет этот трепещущий обрубок. А ведь раньше он не ощущал ничего, кроме азарта и восторга. Может быть, и впрямь пора бросать? Если охота больше не приносит прежней безоглядной радости, не помогает отвлечься от житейских неудач...

Вот стендовой стрельбой увлекался... И вначале после каждых новых состязаний прибавлял разряд. Даже несколько раз завоевывал титул чемпиона года по обществу. А норму мастера так и не выполнил. Все одной-двух тарелочек не хватало. Очень волновался.

И бросил — перестал на стенд ходить. Надоело мучиться. Может быть, и с его установкой термической переработки лесоотходов тоже так? Поначалу загорелся, азартно ее делал. А столкнулся с препятствиями — не осилил и остыл, забросил дело. Устал, видите ли! В лес за новыми идеями отправился...

Мохов добросовестно старается побороть растерянность. Но Степану это удается лучше: он протягивает окровавленный язык лося — в подарок!

— Ну, тогда печенки, или почки возьмите, — Степан даже на «вы» перешел, от души предлагает. И самое лучшее, что имеет. — Да, вот еще хочу попросить. Не отнесете ли Савелию Федоровичу кусочек? Давно старики мясца не пробовали...

«Степан, наверно, и половины моего не зарабатывает, но с каждым готов поделиться, хоть у самого семья...» — думает Мохов. А вслух говорит:

— Хорошо, давай! Только вот... поспею ли до ночи на ток вернуться?

— А зачем сюда ворочаться? Не один у меня ток, — усмехается Степан. На другой сведу — не чета этому будет, до двадцати штук слетается. Как раз к двенадцати вечернюю отработаю — встрену тебя в зале ожидания.

4

К станции приближается местный рабочий поезд, когда Валентин вбегает в зал ожидания. Он спешит — немного опаздывает. А Степан уже идет навстречу — они чуть в дверях не сталкиваются. Поздоровавшись, вместе выходят на перрон. И сразу большая группа рабочих, приехавших с поездом, окружает их. Эти

железнодорожники, видно, хорошо знают Степана. Кто как умеет, они прохаживаются по адресу охотников:

— Эй, Степан, ружье да уда не доведут до добра!

— Ну, цыплят, говорят, по осени, а глухарей поутру считают?

— Смотря как стрелять. Не то перья останутся, да мясо улетит.

— Неужто не знаешь? У Степана ружье хорошего бою: с печи упало — пять горшков разбило и чугун повалило.

Валентин смеется, а Степан почему-то нахмурился.

Молча охотники спускаются с насыпи, входят в лес. Неожиданно Степан сворачивает с дороги. Гость послушно идет за ним. А тот останавливается около березы и осторожно, чтобы не потек сок, снимает верхний слой коры — бересту. Также молча рубит еловый лапник. И быстро устраивает небольшой костерок. От свежей хвои валит густой, пахучий дым. Мохов, нарушая таинственность, спрашивает: зачем это?

— Обкуриться надо, — задумчиво отвечает Степан и вдруг ловко прыгает через костер. Он снял шапку, расстегнул ватник. И скачет словно косач на току, машет полами-крыльями. Заметно повеселел, хоть и кашляет — наглотался едкой гари. Валентин улыбается.

— Ну, чего стоишь? Давай, обкуривайся! — требует Степан.

А сам раскрывает ружье, наклоняет его над костром... Из стволов, как из фабричной трубы, серым столбом идет дым.

Мохов заражается серьезностью своего вожатого. Сосредоточенно повторяет все его манипуляции. Хотя подобная дезинфекция кажется ему весьма сомнительной. Да и при чем тут ружье? Может быть, хвойным дымком Степан хочет отбить запах пороха, металла,

человеческий дух? Так ведь не на зверя собрались... Или и здесь: «Идешь на глухаря — заряжай на медведя?». Все-таки проделав с десяток прыжков, Мохов спрашивает:

— А для чего мы коптимся?

Степан не откликается. Вроде задумался. Только губы слегка шевелятся — будто что-то шепчут. Отвечает деловито, как о само собой понятном:

— От хитрых людей, кто нас обзавидовал. Чтоб не помешали охоте.

— Что, что?.. — не понимает Валентин. Наконец дошло. И не в силах сдерживаться, он вовсю хохочет.

— Ну и купил же ты меня... — еле выдавливает слова сквозь смех, — заставил, дурака, прыгать!.. А я еще думал: дез-ин-фек-ция!

Мохов знает за собой это свойство — на него иногда «накатывает». Вот и сейчас — не может остановиться.

Степан только улыбается. Из вежливости. Или удивляется столь неумеренному приступу веселья?

И снова мечется в потемневшем небе пламя костра, дымится в кружках охотничий чай. А беседа идет вяло.

— Вчера ты не успел досказать, как очнулся в больнице у финнов, — напоминает Мохов.

— А что досказывать? Отъелся и встал.

— В лагерь перевели?

— Понятно, в лагерь.

— Плохо там жилось?

— Что ж хорошего, в плену-то?

— Голодовал, наверно?

— Нет, тогда еще не случалось. Пайку давали. И хлеб нарядили носить из пекарни.

— На себе таскал?

— Очень даже просто.

— Под конвоем?

— Зачем? Нас одних в пекарню гоняли.

— Быть того не может!

— Да в лагере и охрана только для виду стояла. Финны говорили: «Война скоро кончится, а мир объявят — все равно вас домой отпустят».

— Значит, убежать легко было?

— Ну, куда побежишь? Местности не знаешь — далеко не уйдешь. Припасов на себе много не утащишь. Правда, болтовне этой о мире мы не очень-то верили. Однако осени дожидались. Когда ягоды да грибы пойдут — в лесу не пропадешь. И ночи длиннее — скрываться легче. Еще старались узнать, где фронт встал.

— Ну и узнали? Как же удалось?

— Долго рассказывать.

— А в двух словах.

— Неинтересно будет.

Мохов больше не расспрашивает. Проклинает себя за бестактность: сначала на смех поднял, потом допрос устроил... Тянется неловкое молчание. Хорошо хоть дело есть: чай пить.

Но внезапно Валентина осеняет: он просит Степана прочесть ему какой-нибудь из его «рассказов». И тот сразу соглашается. Только на этот раз читает тихо, будто сам с тобой разговаривает:

В лесу вдруг вижу на снегу:
«Я завожу свою игру».
Кто тут, думаю, писал?
За сосну тихонько стал.
И жду. И вот идет глухарь.
Как деды лес делили встарь,
Он начинает чертежи...
Делянку режут те межи?
Нет, други, это здесь весной
Участок будет боевой.

Мохов не обращает внимания на форму. Что-то его тронуло. Он крепко пожимает Степану руку...

И тот улыбается открыто, дружелюбно. Торжествует бесхитростно:

— Вроде, этот рассказ лучше вчерашнего понравился? А тоже в плену слагал. Правда, у немцев... В августе мы не стерпели — из финского лагеря убегли. Ну, поймали нас немцы, в свой лагерь и замнули...

Мохов внимательно слушает. Его почему-то не оставляет странное ощущение: не то он уже читал нечто подобное, не то когда-то слышал от других?.. Или все немецкие лагеря для военнопленных были похожи друг на друга? К тому же повествование у Степана получается каким-то скупым. Но Валентин понимает: Степан не хвастун, не враль — «якать» не любит. Вдруг разевает свой щербатый рот. В их лагерь, оказывается, присылали на практику будущих зубных врачей. «В порядке учебы» они рвали у пленных здоровые зубы.

Потом Степан рассказывает, как бежал из немецкого лагеря. Валентин старается не пропустить ни одного слова. Вот, прорываясь ночью через фронт, группа Степана схватилась врукопашную. Изловчившись, Степан воткнул кому-то штык в живот. И удивился не дикому вскрику согнувшегося, будто пополам сломанного человека. Странным показалось, что штык так легко вошел в тело. Только тогда Мохов впервые перебил Степана:

— А не страшно было?

Но Степан поднял на него свои чистые, широко открытые глаза. Ответил тихо:

— Да ведь обидно же, когда наших бьют!

Из группы Степана лишь двое выжили. Их загнали на работу в каменоломни Крайнего Севера Норвегии.

И опять Мохову показалось, что он уже слышал или читал повесть об этих каменоломнях смерти. Степан рассказывал, что шоферы, возившие гранит, работали не спеша. Они почти не скрывали свою ненависть к немцам, особенно к эсэсовцам, охранявшим заключенных. Но подшучивал над привычкой «норвегов» делать каждые два часа десятиминутный перерыв в работе, чтобы съесть пару бутербродов. Хотя сам же хвалил шоферов за то, что они, рискуя жизнью, частенько делились с пленными, нагружавшими машины. Степан чувствовал: он в стране, где каждый готов помочь. И может быть, поэтому довольно быстро научился объясняться по-норвежски. Наверно, и норвежцам приглянулся. Разве иначе рискнули бы они увезти парня в грузовике из каменоломни?

Шесть месяцев скрывался Степан в подвале у одного «норвега». И «сильно скучился». Приближалась весна сорок четвертого года. Фашистские армии повсюду отступали. Только в Норвегии фронт стоял неподвижно. Больше всего Степан боялся, как бы война без него не кончилась. Нет, он не мог просидеть ее в подвале. Знал, что хозяин участвует в движении Сопротивления. И все время просил: «Давайте мне задания! Или отправляйте к своим».

Друзья-«норвеги» сочувствовали парню. Степан страшно обрадовался, когда узнал: его наконец переправляют через фронт. Он понесет план немецкого аэродрома.

Вскоре Степана снабдили всем необходимым. Дали документы недавно погибшего лесоруба-норвежца. Для усиления сходства с ним парню подстригли бороду на манер древнего викинга. Если б его задержали, Степан должен был говорить, что заблудился, идя к своему лесоучастку. Карту и схему аэродрома пере-

рисовали на папиросной бумаге. В крайнем случае он мог бы их проглотить. Но из-за всего этого не полагалось брать оружия. Правда, Степана подвезли машиной так близко к немецкой передовой, что оставалось сделать на лыжах всего три ночных перехода. А время выбрали самое метельное...

И все же... Мохов-то понимал, каково лыжнику ночью идти по незнакомой, тем более порядком пересеченной местности. Однако Степан рассказывал об этом переходе совсем просто, словно о мирной воскресной прогулке. Радовался, что небо было звездным и светила луна. По голубоватым тонам он угадывал выступы, небольшие неровности на снегу. По более темным, иногда даже черным, — провалы, впадины, овраги, ущелья... Конечно, все-таки падал. Особенно на твердых, как лед, снежных застругах. Зато ни разу не свалился в яму, не сломал лыж.

«Что лыжи! Двадцать раз мог шею свернуть», — подумал Мохов. И снова подивился чисто охотничьему чувству местности у Степана. Только благодаря своему чутью Степан не кружил в темноте. Умудрялся обходить все подозрительные участки, неуклонно сохраняя общее направление по компасу. А ведь двигался почти ощупью без видимых примет. И все же делал по десять-двенадцать километров за ночь.

Перед рассветом второго дня Степан, несмотря на утомление, испытал огромную радость. Остановился у края ложбины и вдруг различил сквозь предутреннюю дымку узкую, темную полоску на горизонте. К ней, точно тетерев, покидающий поутру свою снежную лунку, вырвалось из груди и полетело сердце. Там стеной стоял бор. А кто надежнее скроет охотника от вражеских глаз?

С трудом оторвавшись от своих мечтаний, Степан

стал спускаться в ложбину. Осторожно притормаживая, медленно скатился на дно. Принялся выбирать место для дневки. Снял рюкзак, но еще не вынимал еду, спальный мешок... И вдруг поднял глаза на противоположный берег оврага. По самому его краю, четко выделяясь на уже посветлевшем небе, шел немецкий лыжный патруль!

Маскировочный белый костюм и глубокая тень спасли беглеца — враги не обратили на него внимания. Степан помнил предупреждение «норвегов»: патрули часто ходят зигзагами. Пройдя вдоль берега и обойдя ложбину, немцы могут повернуть назад. Тогда наверняка пересекут его следы. Хорошо еще, если верховье оврага далеко. Врагам придется потратить много времени. Снизу Степану не удавалось определить протяженность ложбины. Даль терялась в дымке. Правда, начиналась утренняя поземка. Но рассчитывать, что к рассвету она заметет лыжню, было трудно. И Степан не захотел оставаться в лощине, чтобы не очутиться вроде волка в ловушке.

«Да, ты не из тех, кто будет, сидя в яме, ждать своей участи», — подумал Мохов.

А Степан рассказывает, как поднялся на край оврага, по которому прошли немцы. Стал всматриваться. Дорого бы дал в ту минуту за бинокль. Хоть и понимал, что простому лесорубу иметь его не полагалось. Однако патруля нигде не было видно. Степан подождал. Надеялся, что заметит вражеских лыжников, когда они начнут подниматься на какой-нибудь гребень или холм, и сможет хотя бы примерно определить общее направление их движения. Но близился рассвет — до его наступления надо было уйти как можно дальше.

И Степан свернул на немецкую лыжню. Немного прошел по ней вслед за патрулем. Затем осторожно,

стараясь нигде не зацепить края лыжи, сделал разворот на месте — в противоположную сторону. И двинулся, как говорят охотники, «в пяту» немцам. Рассчитывал, что фашистский патруль не скоро сюда вернется. Выбрав место, где вдоль покатого берега нового оврага ветер основательно уплотнил снег, Степан свернул в сторону. Мысль о петлях, «двойках» и прочих заячьих хитростях он сразу отбросил. Косой тоже не станет петлять, когда гончие висят на хвосте. Просто старался идти наветренными склонами балок. Не спускался на дно. Знал, что там его следы будут заметнее. Подходя к повороту, осторожно выглядывал. Не выходил из ложбин, пока не убеждался, что поблизости нет никого. И все время «слагал рассказы». В честь поземки, заметающей его след. Во славу далекого карельского леса, который все еще надеялся увидеть, куда так стремился...

Но самые яростные, самые горячие просьбы Степан обращал к облакам. Он молил и приказывал: пусть сейчас же пойдет снег! Густой, мокрый — все равно. Пусть в двух шагах ничего нельзя будет увидеть. Пусть на лыжи налипают пуды. Он тогда завалится в спальном мешке под первый же крупный валун. И сразу заснет, и не станет больше думать о погоне. Обо всем забудет, кроме сна. Лечь спать — такое счастье! Иди, снег!

Степан сочинял свои стихи — «чтоб полегче было бежать». Понимал, конечно: небо спасет его, если он достаточно далеко оторвется от патрулей. Иначе даже самый густой снегопад не успеет запорошить следы.

Между тем рассветало. Но ни туч, ни облаков не было видно. А двигаться днем в прифронтовой полосе — значило наверняка себя выдать. Степан стал

искать какое-нибудь укрытие. Надеялся, что на сдувах, где снег был уплотнен до крепости наста, лыжи не оставили заметных следов, что благодаря этому преследователи потеряли его. Но взлетев с разгона на небольшой хребтик, вдруг всей спиной ощутил врага. И, даже не оглянувшись, понял, что его увидели.

Скатившись на противоположный склон, он погнал изо всех сил по лощине. Понимал, что лыжный закон на стороне врага: прокладывать колею куда тяжелее, чем идти следом. Но, как ни был измучен, а надеялся на быстроту своих ног. И почему-то все стоял у него перед глазами высокоствольный сосновый бор. Шумел вершинами и, казалось, звал: «Сюда, Степан, сюда...»

В овраг, по которому он теперь мчался, с обеих сторон вливались отвершки. Эти ответвления, конечно, помешали бы немецким лыжникам, если б те вздумали рассыпаться веером, как волки, преследующие лося. Только вот склоны оврага становились все круче, выше. Не ждет ли его обрыв? С ходу Степан свернул в один из крупных отвершков. Пошел по нему наверх. И сразу ощутил весь груз своей усталости. Мгновенно взмок. Хотел было сбросить рюкзак. Но подумал, что без спального мешка рискует замерзнуть, если даже уйдет от погони.

На равнине его моментально насквозь продул ледяной ветер. Мокрый свитер стал колом. Степана знобило. Он догадывался: повышенная чувствительность к холоду — признак истощения сил. Теперь мечтал только укрыться от этого пронзительного ветра. Скатился в другой отвершек и вдруг где-то над собой услышал отчетливо: «Хальт!» Немец, явно не принадлежавший к патрулю, бежал по краю отвершка. Степан понял: он влетел в расположение войск — вот почему патрули не спешили! Остановился, когда снег полоснула

автоматная очередь. И тут начались его самые страшные муки: никак не удавалось проглотить колючие бумажонки с планом аэродрома и картой. Сухое горло отказывалось их пропускать. Даже после того, как Степан сдобрил бумажные шарики целой пригоршней снега.

Так и стоял с полным ртом. Стоял и плакал. Слезы сами катились из глаз. А что еще оставалось делать безоружному лесорубу с пересохшей от бега глоткой?

Немец медленно спускался по склону. Повернув на выстрелы, приближались по ущелью патрули.

Степан наклонился, выплюнул бумажки, придавил их лыжами. Сделал вид, что умывается снегом. Смывал им пот и слезы. Успел даже еще раз нагнуться, поглубже в снег затоптать белые шарики и, набрав снова полные ладони, покрепче растереть лицо...

Весь сорок четвертый год Степана перегоняли из лагеря в лагерь. Он ни слова не говорил по-русски, твердо держался своей норвежско-лесорубной документации. Но это ему мало помогало. Весной сорок пятого года попал в Бергенскую каторжную тюрьму. И почти не выходил из карцера. Стал ослабевать. Думал: «Ну, теперь все — отбегался». Потерял счет времени. Даже стихи перестал сочинять. Неожиданно двери тюрьмы распахнулись — кончилась война! Но за первыми радостями, как всегда, пришли заботы. Свободному человеку надо ведь зарабатывать себе пропитание, пока будут закончены формальности с отправкой на родину.

Подвернулась спешная разгрузка английского парохода. Посмеиваясь, Степан рассказывает, как «ударная бригада» из советских военнопленных («норвеги» нас живыми скелетами звали) делала по две обычных нормы. И тут же поясняет:

— Ну, да ведь ихние нормы! Понятно, на хозяина особо-то вкалывать ни к чему... Вот они и ходят вразвалку, здоровье берегут. А нас вполне степенно упреждают: пожалейте себя, надорветесь. Не знали, конечно, что промеж нас и вовсе слабые были, которые даже не вставали. А мы получку на всех поровну делили. Это я норвегам разъяснил и потом еще так добавил: «Да если б мы себя жалели — Советского Союза вовсе бы не было». Вот им понравилось! Закивали головами, хвалить меня принялись, по плечам хлопать... Будто я невесть какую мудрость выразил. Еще и сигаретами угостили!..

О чем только не расскажут друг другу охотники у костра! Но придет пора, и какое-то странное чувство вдруг властно позовет их. Оно вовремя разбудит сонливого. Утроит силы уставшего. Поднимет на ноги измученного. Прервет любую, даже задевшую за живое беседу. Словно мираж, притягивающий человека в пустыне, оно неотступно влечет охотника. И тот неизменно повинуется зову древней страсти.

5

Мохов и Степан собираются, гасят костер. Тотчас лес придвигается, непроглядной темнотой со всех сторон наваливается на них. Они идут в ток. Вначале Мохов ничего не видит, кроме покачивающейся перед ним спины Степана. И все вспоминает слова Савелия Федоровича: «Степан человек хороший, а проходимцем у нас зовется, потому что везде пройти может». Действительно, даже через смерть перешагнет, не спот-

кнется. Кажется, невысокая фигурка Степана делается больше, крупнее, головой касается вершин леса...

Постепенно глаза привыкают к темноте. Охотники выходят из ельника. Новое токовище — огромное болото с островами крупного леса — лежит перед ними. С усилием выдирая ступни из размокшего мха, они добираются до первого бугра, по гриве переходят ко второму.

— Тут обождем, — шепчет Степан.

Около получаса охотники стоят молча, прислонившись к стволам высоких сосен. Странная, обманчивая тишина окружает их. Будто и лес, и болото, и множество живых существ вокруг — затаились вместе с ними... И все чего-то ждут, на что-то надеются, только сказать о том не смеют.

Робким, тихим кажется первый, нарушивший эту тишину звук — не то писк, не то свист. И наверно, испугавшись собственной смелости, он тут же стихает.

Но вот над вершинами сосен проносится легкий вздох. Еще один... И сразу все неуловимо меняется, оживает. Уже десятки голосов доносятся со всех сторон. Громких и еле слышных, заливистых и коротких, протяжных и резких. Степан и Валентин невольно хватают друг друга за руки — глухарь запел! Среди всех весенних шорохов и звуков слышат только этот тихий и какой-то нелепый — то металлический, то деревянный голос. Распределив между собой острова, темными шапками торчащие на болоте, охотники расходятся по участкам.

Мохов сначала идет медленно — наслаждается лесным концертом. Но вдруг будто срывается в нем пружина — он принимается подскакивать к ближайшему певцу. А тот внезапно смолкает. Хотя Валентин знает, что не мог подшуметь токовика. Делал по три корот-

ких скачка. И, остановившись, каждый раз отчетливо слышал конец песни. В недоумении Мохов застывает на месте. Но вдруг настораживается: со стороны Степана доносится хлопанье рукавицами по голенищам. Раз, другой... Валентин представляет себе огромные Степановы варежки. Только не может быть, чтобы Степан так недалеко отошел. Вот опять — словно забил в ладоши! Но что за чудеса? Совсем рядом с некстати рукоплещущим шутником — запевает глухарь! Он щелкает отчетливо и ясно. Учащает. Вот уже вовсю точит, скрежещет... Замолк... Снова кто-то хлопает рукавицами по сапогам. И тотчас вслед несется песня мошника.

Никогда еще Мохов не встречал охотника, умеющего ей подражать. Но сейчас готов поверить: Степан Петушев может все. Однако Валентин не понимает: зачем Степану манить и пугать одновременно? Наконец его осеняет догадка: это настоящий петух, но поет он — на земле! «На полу», как говорят охотники. Время от времени «пехотинец» азартно подпрыгивает и хлопает крыльями, словно чуфыкающий тетерев. Вот уже и тот глухарь, к которому начал было подскакивать Мохов, разобрался, что к чему. Защелкал, заточил... Но Валентину чудится, будто мошники дерутся, бьют друг друга крыльями. А он никогда еще такого боя не видел. И Мохов бросает «своего». Сначала под его песню, потом уже под песню «пехотинца», быстро уходит в сторону Степанова участка.

Из книг он знает, что «на полу» глухари поют неровно, с большими перемолчками. Трудно подойти к певцу-бродяге. Тот все время перемещается. И довольно бойко. Охотник же двигается только в те короткие секунды, пока длится скрежетанье — глухое колено

песни. Но что Мохову книги? На току все в его власти, здесь он волен в своих путях и поступках.

Неожиданно протяжный стон, гугнивый и слегка дрожащий, раздается у него за спиной. Мохов вздрагивает, оборачивается... Да ведь это же влюбленный заяц! Дудит себе в испорченную флейту, пытаясь подражать чистому посвисту иволги. Однако никто из настоящих певунов не обращает внимания на косого музыканта.

Продвигаясь, Валентин начинает понимать: впереди один петух — никакой драки там не происходит. И постепенно трезвея, мысленно представляет себе всю панораму тока.

Вот кружится в темноте по острову, бьет крыльями, подпрыгивает и распевает песни глухарь. Кругами ходит, стонет заяц. И охотник, как завороженный, вертится в лесном хороводе любви и смерти — не может остановиться. «Словно Мизгирь гонится за Снегурочкой», — усмехается Мохов.

Опять он выскочил на полянку, заросшую с края мелким ельником. А недавно пересекал ее под песню. На такие чистинки любят слетать глухарки. Валентин снимает кепку и приглушенно «кокает» в нее — подражает зову мошниковой подруги. Но внезапно его пронзает острое беспокойство. Он вдруг ощутил: здесь кто-то есть. И не глухарь, не заяц... Вроде слева неясный шорох послышался... Замолк косой музыкант. А глухарь еще поет. Только уходит — все дальше, дальше... Но преследовать его больше не хочется. Снова доносится этот странный шум. Будто кто-то там, слева, за глухарем прыгает. Неужели медведь или рысь?

Мохов прислоняется спиной к стволу огромной сосны. Так он хоть сзади защищен. Поднимает мизинец,

сначала послюнив его. По легкому ощущению холодка угадывает: ветер дует от зверя. Возможно, он и не учуял охотника. Хотя... не мог не слышать моховские прыжки — не глухарь...

От Степанова участка доносится выстрел. «Наверно, одного взял», — механически отмечает Мохов. Но сам звук этот кажется сейчас таким далеким... И глухари не прекращают петь. Со всех сторон накатываются волны лесного концерта. А он все стоит, прислушивается... Не может отделаться от странного чувства: рядом кто-то притаился, ждет, вот-вот бросится...

Однако больше не слышит никаких подозрительных шорохов, тем более шума прыжков. И все-таки Валентин уже не чувствует себя владыкой тока. Даже потихоньку вложил в левый ствол пулевой патрон.

Усилился предрассветный ветерок, но по-прежнему он дует слева. А песня мошника-бродяги, хлопанье его крыльев теперь уже доносятся откуда-то спереди и справа. Кажется, он приближается? Мохов вслушивается. Опять изредка чудится какой-то треск. И как раз под песню. Она все яснее, четче. Бродяга-певец основательно придвинулся. Валентин застыл у сосны. Елочки закрывают его до пояса, прячут опущенные вниз стволы ружья.

Вдруг слева раздается звучное «коканье» настоящей копалухи. Тотчас огромный глухарь, напыжившись, как индюк, пешком выходит на поляну. Он появляется внезапно, словно артист, давно поджидавший вызова за лесным занавесом. И Мохов сразу же забывает о шатуне, обо всех своих страхах и сомнениях. С какой-то неистовой радостью вскидывает ружье, стреляет...

Вслед за грохотом выстрела из-за полога леса доносится резкий вскрик. Валентин различает только его

обрубленное окончание — что-то вроде человеческого «ай» или «яй». Глухарь бьется на земле, трепещет крыльями — жизнь трудно оставляет могучее тело. Он все еще в пути, бродяга, хоть уж и никуда не дойдет. А на опушку ломится сквозь чащу кто-то большой, темный...

Мохов снова поднимает ружье, ловит стволами мелькающую среди деревьев черную тень. Где-то в глубине сознания возникает смутная догадка: крупная дробь на излете зацепила зверя, привела его в ярость.

А Степан не тратил время на свыкание с током. Все здесь ему было давно знакомо. Расставшись с Моховым, сразу взялся подходить к одному из глухарей, поющих на его бугре. Но, к несчастью, по пути напоролся на молчуна. Тот слетел с тревожным креканьем. Конечно, напугал, заставил замолчать певца, к которому подкрадывался Степан. Минут десять Степан простоял в неудобной позе. И плюнул — не стал дожидаться, когда его мошник снова запоет. Ведь рядом играли другие.

Ко второму Степан быстро подошел на выстрел. Однако никак не мог наглядеть птицу в густой хвое старой ели. Принялся обходить дерево под песню. Высматривая глухаря, оступился, «ручкнул» сухим сучком. Треск получился раскатистый. Мошник успел допеть свою песню раньше. И конечно, услышал — сорвался с ели, улетел. Степан даже не управился обернуться. Вот тогда-то, шибко раздосадованный неудачами, вдруг услышал хлопанье крыльев на земле. Как и Мохов, заподозрил драку. Быстро прикинул, что сможет подойти к месту побоища до рассвета. Сообразил,

что Валентин должен находиться правее, за вторым бугром. И включился в тот самый хоровод, в котором уже кружились Мохов с влюбленным зайцем.

Подскакивая к мошнику-пехотинцу, Степан тоже услышал далекий выстрел. Подумал: «Объездчик в току на Серг-озере балует», — трезво определил расстояние. Правда, несколько раз улавливал справа шум прыжков Валентина. Но считал, что Мохов подходит к другому глухарю. Даже предположить не мог, что тот станет подскакивать к бродяге, поющему на земле. Ведь не из книг, по собственному опыту знал, как трудно догнать его. К этому времени Степан уже догадался, что никакой драки нет. Но, подстегнутый двумя неудачами, вошел в раж.

Потом перестал слышать моховские прыжки. Решил: тот ушел куда-нибудь в сторону, к «своему». Кругом пело верных два десятка певцов — было из чего выбрать. А сам все больше ярился. Так и стучали в мозгу одни и те же слова: «Врешь, не уйдешь. Погляжу, как поешь на полу, каково вверх сигаешь, сильно ли крыльями себя хлещешь...» И стоя неподвижно в долгие минуты перемолчек, и подскакивая под песню — продолжал твердить про себя: «Все равно догоню...»

Степан гнался за глухарем, не слыша ничего, кроме скрипучего голоса древней птицы. Казалось, уже нагоняет мошника. Тот вроде бы остановился на краю полянки. И так же, как Степан, весь охваченный страстью, увлеченно играл. То и дело раздавалось странное фырканье — глухарь распускал и складывал веер хвоста. Он уже почти не щелкал, начиная сразу с дроби. Песни переходили одна в другую... Дикий, скрежещущий, волнующе-однообразный мотив!

Степан мчался в этом допотопном ритме огромными прыжками. И наверно, успел бы подойти на выстрел, если б не закокала копалуха.

Но тут ударил неизвестно откуда взявшийся Мохов. Злая досада на свое сегодняшнее невезенье охватила Степана. Крикнув Валентину: «Не стре-ляй!» — он напрямик ринулся к петуху. Хотел взглянуть, пока еще бьется. И вдруг увидел в мглистом полусвете начинавшегося утра наведенные на него стволы.

Мгновенно отрезвев, рявкнул:

— Не балуй!.. — и свалился ничком под раскорячившийся рядом выворотень.

Мохов с трудом приходил в себя. Услышал «не балуй», когда уже готов был нажать спуск. Принял лицо Степана за светлое пятно на груди медведя.

А теперь Валентина трясло. Ружье сразу потяжелело — оттягивало руки. Подумалось: «Отшутиться бы». Но губы дрожали — ни слова не мог он вымолвить.

Сдвинув предохранитель, опустив стволы, сделал несколько шагов к упавшему Степану.

«Убил? Дробью... Сквозь чащу и на излете... Не может быть», — самообладание постепенно возвращалось. И вслед уже кралось раздражение.

Хотелось скрыть стыд за пережитое... «Солью бы тебя по мягкому месту, чтоб не совался под выстрел», — чуть не крикнул Степану. Но тот поднялся из-за выворотня с таким смущенным видом, что Валентин сдержался. Рассказал, как поджидал глухаря-бродягу. Конечно, о своих страхах не заикнулся.

— Живое в лесу часто кругами ходит, — веско заключил он свой рассказ.

Степан признавал только личный опыт. Видел в товарище настоящего лесовика — охотника еще более сметливого, чем он сам. Как же! Валентин догадался подстоять кружившего, точно заяц, глухаря. Степан теперь проникся к нему большим уважением. Да и Мохов, справившись с минутной слабостью, чувствовал к Степану ту искреннюю привязанность, которую испытывает спаситель к спасенному. Степаново отношение льстило самолюбию, смягчало чувство стыда за свой страх перед шатуном. Ведь он вроде все-таки выдержал испытание?

Или просто для всего живого естественно всегда быть начеку? Разве лоси, зайцы, глухари — не ощущают гнет непрерывного преследования? Всё прислушиваются, принюхиваются, приглядываются... Ждут ее — неведомую, неизвестно откуда и чем грозящую опасность. Вот и он, Валентин, держался начеку. Значит, не надо об этом хныкать. Конечно, хорошо бы жить, как слоны: никого не жрать, но и себя никому в обиду не давать...

6

Цепляясь за поручни, Мохов еле поднимается по ступенькам в тамбур. Хотя Степан помогает: подталкивает снизу. Очень уж рюкзак раздулся. И все-таки глухари не поместились — хвосты торчат наружу.

Появление такого пассажира в переполненном общем вагоне, конечно, не проходит незамеченным. Со всех сторон сыплются веселые восклицания, вопросы. Валентин отвечает охотно, отшучивается...

Особенно заинтересовывает охотник компанию молодых рабочих с Балтийского завода, Ребята возвра-

щаются в Ленинград из длительной командировки: «Помогали рабочему классу Мурманска!» Они сразу освобождают для земляка краешек скамейки. Приходится вынимать птиц, показывать, объяснять... Тут уж не отделаешься короткими ответами.

Поначалу Валентин и сам увлекается. Весь еще полон радостными воспоминаниями о славных людях, о карельской природе... Однако постепенно он скучнеет, все суше становятся его описания. Он, конечно, не приукрашивает — говорит правду. Но какую куцую, жалкую! Ни слова не может сказать о том, что пережил, передумал, перечувствовал за шесть дней охоты. А простое перечисление успехов невольно превращается в обычное охотничье бахвальство. Хотя Мохова всегда тошнило от дежурных рассказов: «Как я убил глухаря». Да и чем он, в сущности, имеет право хвастать? Добыл двух глухарей и едва не застрелил человека... А старику не помог. И завалы эти... Сорокалетний доцент в поисках новых идей! Мохов насупливается, мрачнеет. Ничего не осталось от недавней умиротворенности. Вот он и совсем замолк. Пусть товарищи извинят его. Ночью охотился. И поезд приходит в три утра. Надо бы поспать...

Нет, балтийцы не обижаются. Радушно уступают ему одну из третьих полок. А сами сдвигают чемоданы, принимаются «забивать козла».

Мохов залезает наверх, но долго не может уснуть.

Необычно это тихое весеннее утро. Небо совсем светлое, хоть солнца еще нет. И воздух недвижим. Даже на вечно продуваемых насквозь проспектах. Спят дома, трамваи, автобусы... Тишину — такую редкую гостью Ленинграда — прерывают только дале-

кие гудки. Да ошалелые от бессонницы такси изредка с урчанием проносятся навстречу Мохову, сияя одиноким зеленым глазком.

Валентин, еле бредущий с ружьем и тридцатикилограммовым рюкзаком за спиной, невольно поддается очарованию пустых гулких улиц. Словно он спешил на свидание. А теперь идет рука об руку с едва проснувшимся городом. И хорошо, что можно просто шагать рядом, ощущая легкое касание плеча, радуясь молчаливому пониманию... Наконец удается взять такси.

Мохов входит в квартиру, почти бесшумно повернув ключ в замке. Осторожно прикрывает за собой входную дверь — не хочет раньше времени будить соседей. На пороге своей комнаты чуть-чуть задерживается — как бы встречается со старым другом.

Медленно снимает ружье и рюкзак. Стаскивает и кладет рядом сапоги. Скидывает ватник. В носках, ступая необыкновенно мягко, проходит в переднюю — вешает ватник на вешалку. Кажется, чувствует отдельно каждый свой мускул, всякую жилочку. И вернувшись, принимается поспешно раздеваться. В одних трусах пробирается в конец коридора. Какое наслаждение принять ванну! Валентин несколько раз намыливается. Жарко растирает себе лопатки длиннющей мочалкой. Долго полощется под душем. И предвкушает, как заберется в чистые простыни хоть на часок... А перед глазами маячат каменистые увалы, высокие светлые сосновые боры, глубоко вдавшиеся в материк ледяные языки заливов...

Проходит неделя, вторая... Вечерами доцент Мохов допоздна засиживается в Академии — возится со своей установкой, упорно ее восстанавливает. Кажет-

ся, удалось нащупать новое решение... Только постоянно не хватает регулируемых электродвигателей, вариаторов, стальных жароупорных трубочек. Со складов он ничего не может получить — ведь его тема не включена в план научно-исследовательских работ. Коечто удается самому смастерить из старья, кое-что раздобывают лаборанты. Они к нему хорошо относятся.

За хлопоты о пенсии Савелию Федоровичу Валентин тоже принимается сразу по возвращении из Чамгалакши. Прежде всего идет в собес. И немедленно натыкается на препятствие. Ему вежливо объясняют, что справки по просьбам частных лиц не выдаются.

«Вот если запрос пришлет районная заготконтора — мы ответим. Но они, конечно, имеют все необходимые данные, чтобы применять закон к охотникам».

В юридической консультации его сначала обнадеживают:

— Правление колхоза только представляет стариков-колхозников на пенсию. А назначает ее специальная районная комиссия. И если туда обратиться...

Мохову все же удается растолковать консультанту, что в колхозе Савелий Федорович никогда не состоял, что речь идет об охотнике-промысловике, который всю жизнь проработал по договорам с заготконторой, но страховку не платил.

— Ну, если он не вносил страховых взносов, то вряд ли имеет право на пенсию.

— А просто по старости?

— Она тоже дается лишь застрахованным. Впрочем, скоро должно выйти разъяснение к закону. Тогда посмотрим, что можно будет сделать для старика. Запишите наш телефон, позвоните через месяц.

В конце июня, разделавшись с экзаменами, Мохов звонит. Выясняется, что по телефону справок не дают.

Он приходит в консультацию лишь для того, чтобы вновь выслушать: «Дополнительных разъяснений пока не поступало. Зайдите еще как-нибудь. . .»

И Мохов пишет не то пространную заметку, не то статью о Савелии Федоровиче. В редакциях ему отвечают уклончиво: «Случай не типичен», «Таких стариков считанные единицы — стоит ли копья ломать?» И справедливо замечают: «Где же вы были, товарищ охотник, когда шло всенародное обсуждение проекта закона? Почему тогда не выступали в печати?»

Под влиянием всех этих закавык постепенно гаснет моховский пыл. И Валентин не знает, что писать Степану, Савелию Федоровичу. Вот разве фотокарточки послать?

Время между тем летит быстро. В Академии кончаются занятия. Но первый месяц своего отпуска доцент Мохов проводит, проверяя на опытной установке новое решение задачи термической переработки лесоотходов. Предположения оправдываются. Теперь можно бы и отдохнуть — тем более, что приближается пора летне-осенней охоты. И тут как раз приходит письмо от Степана:

«Здравствуй, Валентин! С приветом от любителей озер, рек и лесной глуши. Пишет известный вам охотник Степан. Во-первых, извини, работал без выходных, некогда было и в лес сходить. После, как вы уехали, в лесу, почитай, настояще не был. Правда, пару глухариков взял, да имел счастье на Серг-озере щук в мережи пуда полтора наловить. Только всего и порадовался. Во-вторых, хлопот много. У Савелия Федоровича корова после отела заболела — пришлось ее на мясо продать. Такая старику неудача: зиму кормил, а на лето без молочка остался. Дочки тоже ему не помощ-